



АрТ
фа
КТ
детектив

От матери к дочери переходила
драгоценная брошь в виде
хризантемы, некогда полученная в дар
от великой императрицы Поднебесной.
Когда она попала в чужие руки,
началась череда преступлений...

ЕКАТЕРИНА ЛЕСИНА

Хризантема
императрицы



ЭКСМО

Артефакт & Детектив

Екатерина Лесина

Хризантема императрицы

«ЭКСМО»

2009

Лесина Е.

Хризантема императрицы / Е. Лесина — «Эксмо»,
2009 — (Артефакт & Детектив)

Когда-то драгоценная брошь в виде хризантемы была подарена великой императрицей Поднебесной Цыси русскому врачу и с тех пор переходила по наследству от матери к дочери... Жена Вацлава Скужацкого погибла, и заведенный порядок нарушился – хризантема попала к его новой супруге. Передавать ее падчерице она не собиралась, и Даша сама решила завладеть семейным сокровищем. Так произошло первое преступление... Леночка была рада, что наконец-то избавилась от навязчивой опеки матери и переехала в отдельную квартиру. Ее внимание сразу привлекла экстравагантная пожилая соседка Дарья Вацлавовна, прозванная Императрицей. По слухам, она владела каким-то сокровищем, но так и не определилась с наследником. Девушка стала понимать – она попала в этот дом вовсе не случайно...

© Лесина Е., 2009

© Эксмо, 2009

Содержание

Леночка	7
Брат	9
Фрейлина	10
Гений	11
Леночка	15
Брат	18
Фрейлина	19
Гений	20
Наследник	21
Леночка	26
Фрейлина	28
Гений	30
Брат	31
Наследник	32
Леночка	36
Гений	40
Брат	41
Наследник	43
Леночка	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Екатерина Лесина

Хризантема императрицы

Кружатся розовым туманом лепестки сливы, а ветер робко руки гладит, дышит в лицо цветочным ароматом. Весна пришла в Маньчжурю.

Это была очень далекая весна, случившаяся много лет назад, когда все казалось иным, невозможным, но желанным, когда весь мир был против маленькой Орхидеи. Насмешлив, презрителен, полон церемоний и церемониалов, правил и установок, он отводил Ланьэр совсем иную роль.

Где он теперь? У ног ее, все еще послушный, ждет приказа, любого, лишь бы исполнить, лишь бы нарушить затянувшееся молчание, лишь бы убедиться, что она еще жива.

Жива.

Недолго уже. Закрывать глаза, позволить вспомнить всех, по очереди... ушедший отец... слабоумный брат, сестрица и мать, подарившая жизнь и имя.

Орхидея... она всегда ненавидела эти цветы, слишком изысканные, слишком прекрасные, чтобы не напоминать о том, что сама Ланьэр имени не соответствует.

Давно это было. Кто осмелится назвать Орхидею по имени? Кто решится вспомнить, кем она была когда-то? Милостивая, Благодетельная, Главная, Охраняемая, Здоровая, Глубокая, Ясная, Спокойная... титулов много, не запомнить всех, да есть ли в том нужда, кроме той, что позволяет остаться еще на миг...

Величаяя, Верная, Долголетняя, Чтимая, Высочайшая, Мудрая, Возвышенная, Лучезарная, последняя великая правительница из династии Цин, императрица Цыси, маньчжурская Орхидея престола Поднебесной. Ядовитый цветок Сянфэна.

Сам виноват, не она избрала этот путь, она лишь не увидела иного.

А лепестки кружатся, кружатся, заволакивают глаза розовым туманом, и знает Цыси – нет их на самом-то деле. Откуда сливовому цветку взяться в ноябре? Но знание не спасает, и в мимолетных фигурах, сложенных ветром, вновь приходят лица.

Сянфэн, Сын Неба, Дракон, супруг ее бестолковый, он и сам не понял, как много дал, как много позволил... Сянфэн любил свою Орхидею.

И последним указом приговорил ее к смерти.

Дурнушка-Цыань, завистница-Цыань. Цыань, чтившая законы... Цыань, посягнувшая на власть и провозглашенная Великой Императрицей Восточного Дворца. Цыань ненавидела Орхидею, но была слишком наивна и слишком слаба, слишком доверчива, слишком... беспомощна.

Цыань не исполнила указ супруга.

Не стало Великой Императрицы Восточного дворца. И не нужен оказался титул Императрицы Западного. Зачем, когда императрица отныне одна?

А вот Тунчжи, ее-чужой ребенок, к которому Цыси так и не смогла привыкнуть. Дитя, рожденное для власти и ради власти, дитя, даровавшее годы спокойствия. Дитя, не способное остаться ребенком. Зачем он вырос? Зачем потребовал большего? Не с ее ли молчаливого согласия ему были открыты все двери к наслаждениям как дозволенным, так и запретным? Он рос покорным, он рос послушным... но все же рос. И вырос.

Свадьба. Алутэ. Будущий наследник. Грядущая опасность и решение, которое далось нелегко. Но... что ждало Цыси в будущем? Тишина и забвение в отдаленном уголке Ихэюань? Возвращение в молодость, в то ненавистное время, когда Ланьэр зависела от чужой милости? Нет, не могла она этого позволить.

Ушел Тунчжи... ушла Алутэ... и нерожденный владыка Поднебесной с нею.

И ветер, укором скользнув по губам, приостановил пляску несуществующих лепестков. Зачем он мучит ее? Почему не даст уйти? Снова лица? Уже из сумрака и тени сплетенные...

Любимый Ли Ляньин, единственный, кто был по-настоящему близок, кто понимал, кто видел в императрице женщину, а в женщине – императрицу. Но предал, предал... променял... его смерть приписывают руке Тунчжи. Пусть так, ведь неважно кто, важно, что предательство не осталось безнаказанным.

А вот Гуансюй, еще один непослушный мальчик... родной, много ближе, много роднее, чем полагают некоторые. Его Цыси любила, ему позволяла многое, даже мятеж простила – она милосердна. А он затаил злобу из-за той девчонки. Неужели не понимал, что любой проступок должен быть наказан?

Гуансюй обрадовался бы, узнав о ее смерти, но не бывает тому, он первым преступил порог небытия, проклиная и повинуюсь. Что ж, пусть будет так, ведь то, что свершилось, уже неизменно. Будущее же... будущее ускользает. Будущее для живых, а для тех, кто стоит на пороге, – безвременье.

Но древний обычай велит поделиться мудростью, и Цыси, собравшись с силами – расстаться с этим дряхлым телом будет даже в радость, – прошептала:

– Никогда не допускайте женщину ко власти. Никогда не позволяйте евреям вмешиваться в управление государственными делами.

Да, так, пожалуйста, будет хорошо.

Превозмогая боль и слабость – никто не увидит слез Великой – она вытянулась в кровати, повернувшись лицом в южную сторону, туда, где несуществующий ветер сплетал косы из призрачных лепестков.

И 15 ноября года 1908 Великая Императрица Цыси, в течение сорока трех лет правившая Поднебесной, отправилась в «мир теней» на семьдесят четвертом году жизни.

14 ноября того же года скоропостижно скончался ее племянник Гуансюй, который должен был занять трон, а наследником, согласно последней воле Цыси был объявлен двухлетний Пу И, ставший последним маньчжурским императором.

Впрочем, для нашей истории это не имеет равным счетом никакого значения.

Леночка

Позже Леночка никак не могла вспомнить, когда же она встретилась с Феликсом. Почему-то этот факт, мелкий, совершенно незначительный, но вот ускользнувший из памяти, казался ей очень и очень важным, и оттого Леночка снова и снова принималась перебирать события того дня.

Понедельник? Нет, определенно нет, в понедельник она опоздала на работу и получила выговор от Степан Степаныча, раздраженного не столько опозданием, сколько похмельем. Понедельник был злым днем, запомнившимся обидой и пролитым на юбку клеем, от чего обида разрослась до размеров вселенной.

Тогда, наверное, вторник? Возможно... во вторник Степан Степаныч был тих и благостен, за голову не держался и только через каждые полчаса чаю просил, непременно зеленого и чтобы с лимоном. Тонкие кружочки на блюде, слой истаявшего сахара и конфетка из «секретных» запасов. Степан Степаныч сидел на диете и... нет, совершенно неважно это, главное, что во вторник ее отпустили раньше и Леночка прибежала домой засветло, значит, тоже не могла познакомиться с Феликсом.

Значит, среда? Директорский слет, суэта, совещание, затянувшееся до неприличия, и чай уже черный, в бумажных пакетиках с хвостиками-этикетками, с «представительской» тяжелой сахарницей, с бутербродами, печеньем, конфетами, фантиками, крошкой, грязной посудой, постоянными просьбами скопировать-распечатать-принести-унести-найти... нет, в среду Леночка вымоталась до такой степени, что и слона не заметила бы, не то что Феликса. Феликс – маленький. И настырный. И еще та сволочь, если можно так сказать о том, кого не существует.

Четверг и пятница. В четверг был день рождения Нонны Леонардовны, с шампанским и тортиком от нее, розами да коробкой конфет от коллектива и белым конвертиком от Степан Степаныча. И Леночку потом все дергали, спрашивали, сколько же там, в конвертике, лежит, а она хихикала и отговаривалась незнанием. Ей не верили, и вечер закончился совсем-совсем грустно. А Феликс?

Пожалуй... пожалуй, четверг подходящий день. Ну да, она торопилась домой, не потому что опаздывала или кто-то ее ждал, а потому, что ей было приятно торопиться в свою собственную квартиру. Было в этом что-то особенное, непередаваемое и хотелось встретить кого-нибудь, неважно кого, лишь бы спросили:

– Леночка, ты куда бежишь?

А она бы, сдерживая улыбку, сделала бы серьезное-пресерьезное, «представительское» лицо и ответила:

– Домой, – сердце бы радостно екнуло «да-да-да, домой, к себе домой», а Леночка сказала бы: – Я же только неделю как переехала. Да, повезло, конечно: дом пусть и старый, но такая планировка... такие площади... Ремонт, конечно, нужен, но...

– Тетенька, если будете ворон считать, свернете себе шею, – вихрастый белобрысый мальчишка нагло забрался в мысли. – Мне нянька так врет. Она – идиотка.

– Нельзя так говорить, – Леночка тогда удивилась, потому что, во-первых, маленьким мальчикам в такое время полагалось сидеть дома, и вообще не сидеть, а лежать в кроватках. Во-вторых, им точно не полагалось грубить взрослым, ну а в-третьих, сам вид его – короткие шорты на широких лямках, белая майка с Винни-Пухом, очки с толстыми стеклами и белой резинкой, завязанной на дужках узлами – был нелеп и никак не увязывался с увесистой книгой, которую мальчишка держал в руках.

– А что можно? – буркнул он, захлопывая книгу. – Ковыряться в песке? Сюсюкать?

– Н-не знаю.

– И я, – он вздохнул и, поправив съехавшую лямку, поинтересовался. – А ты новая тут? Из третьей квартиры, да? Будем знакомы, я – Феликс.

И руку протянул, а Леночка, пребывавшая в ступоре, пожала горячую и липкую ладошку. – Леночка.

Вот именно так, не церемонной Еленой Сергеевной, не по-европейски свободной от отчества, но не менее солидной Еленой, а бестолковой и домашней Леночкой.

– Ну что, пошли чай пить, – предложил Феликс. – Только к тебе, а то меня нянька спать загонит.

– А...

– Бэээ. Дура она. И ты, кажется, тоже.

Наверное, следовало его отчитать, строго и по-взрослому, а лучше отвести к няньке и пожаловаться, что мальчик дурно воспитан, а еще лучше – пожаловаться родителям и потребовать сурового наказания, но... Но Леночка вдруг обиделась – она вообще очень легко обижалась – и ответила:

– Сам дурак.

– Я не дурак, – Феликс прыгнул с лавки и кое-как пристроил книгу под мышкой. – Я – гений.

Ну да, четверг, совершенно точно, это случилось в четверг! Потому что на следующий день Леночка ездила покупать обои, но и до поездки случилось несколько событий, неприятных или же просто странных.

Брат

Она казалась совсем глупенькой, эта девочка из третьей квартиры. Круглое личико, пухлые губки, наивно распахнутые глаза, голубые – он точно не знал, но полагал, что голубые, потому как блондинистым дурочкам иных не полагается. А эта, из третьей квартиры, была блондинкой, кудрявенькой, как французская болонка, такой же суетливой, тяготеющей к кружевным блузкам и строгим серым юбкам. Секретарша? Менеджер? Консультант? Учительница младших классов?

Ему понравился первый вариант – секретарша. И с начальником спит, потому что влюблена и надеется увести того из семьи, а начальник ее просто и незамысловато трахает, и понять его можно: как тут устоишь перед такой блондинисто-голубоглазой, розово-воздушной, кружевной, беспомощной, но с бюстом третьего – а то и четвертого размера.

Нет, соседка из третьей квартиры была хороша. Очень хороша.

С ней следовало познакомиться поближе, и тогда, кто знает... Он будет узнавать ее потихоньку, голос, жесты, запахи... особенно запахи. От женщины всегда пахнет тем мужчиной, с которым она спит. Он даже придумал, что за соседкой из третьего этажа тянется шлейф из кофе, коньяка, сигар и туалетной воды «Dark Core» – агрессивной и потому пошлой.

Он изменит ее аромат. И саму ее тоже.

Жизнь снова стала интересной.

Фрейлина

Ромашка, определенно ромашка. *Matricaria inodora* или нет, *Matricaria matricarioides*. Вульгарная, обыкновенная, ничем непримечательная обитательница пустырей, обочин дорог и офисов. Сладенькие духи, сладенькая розовая помада и сладенький искусственный румянец на щеках, из шкуры вон, лишь бы привлечь внимание. И ведь привлекает, ах эта обманчивая свежесть полевых цветов... Одна радость, что приедается быстро.

– Леля, ну что ты к окну прилипла, это просто неприлично!

Неприлично при ее статусе жить с этим убожеством, если б знал, как она его... нет, не ненавидит, это для него чересчур, брезгует скорее. Шурочка – *Stellaria media*, в просторечье – мокрица, сорнячок-с, с виду слабенький и беспомощный, а попробуй выведи.

– Леля, Лелечка, у тебя опять голова болит? – почувал, что она не в настроении, заюлил, заелозил. – Ну хочешь я Лелечке массажик сделаю? Или кофею?

Не хочет, ни массажу, ни кофею – ну как можно в его возрасте присюсюкивать? – хочет, чтоб он убрался, вместе с лысинкой своей, одуловатой мордахой да постоянными попытками услужить.

И почему она за него замуж вышла?

Из-за нее, из-за старухи – вот уж и вправду редкий цветок – и собственного страха.

– Леля, – Шурочка попытался обнять, прижался щекой к спине, задышал сипло, по-собачьи. – Леля, а как тебе эта девочка, из третьей квартиры? По-моему она миленькая... давай ее на ужин пригласим?

– Зачем?

– Ну просто так. По-соседски. А я грудинку приготовлю, с красным вином и базиликом, а еще...

Еще Леле совершенно не интересны его кулинарные изыски. Господи, ну как можно быть настолько ограниченным существом, чтобы ничем, кроме кухни, не интересоваться? Она ему о Рембрандте, а он – о севрюжьих спинках.

– И тебе будет с кем поговорить... – продолжал ныть Шурик.

Леле? Говорить с ней? О чем? Она – ромашечка, простая и неинтересная, чуть подтолкни в нужном направлении и сама все выболтает. А если... ну конечно, как ей раньше в голову не пришло. Пожалуй, это будет забавно.

– Ты умница, – поцеловать Шурика в лысинку, стереть со щеки жирное пятно – вот неряха – и озвучить то, что пришло в голову. – Давай устроим вечер, для всех. И девочку эту позовем, и Милослава, и Вельских, и...

– И Императрицу тоже?

Глупый вопрос! Конечно, ведь ради нее все и затевается! Ради нее и ради посмотреть, сколько ей еще осталось.

Гений

Суета, суета, суета... вокруг одна сплошная суета, люди ну совершенно не умеют ценить время. Люди вообще не способны что-либо оценить. Или кого-либо. Стадо, запертое в шорах стереотипов.

Да, именно так, именно стадо, именно в шорах, именно стереотипов. И нечего говорить, что его образы алогичны, метафоры метафоричны, а гиперболы – гиперболичны. А каким им еще быть? Просто его творение рассчитано на тонкого и взыскательного читателя, а вокруг – одно быдло.

Торопится, суетится, почти сбивает с ног.

– Ой, простите, – торопливо извинилось быдло, прижимая ладошки к щекам. Самочка. На вид лет двадцать пять – двадцать шесть, наверняка читает детективы или, чтоб умной показаться, Дэна Брауна и Мураками. Или этого, как там его, Коэльо.

Имя всплыло в памяти колючим колесом.

Именно колючим и именно колесом. Метафора. Для избранных. Не для таких, как эта, с серыми глазками навывкате, губками сердечком и родинкой под глазом. И очки нацепила, конечно, пытается придать физии хоть призрак интеллекта.

– П-простите, – она попятилась, прижимаясь к стене, сделала попытку шмыгнуть мимо него, а он нарочно стал так, чтобы шмыгнуть не получилось, зато получилось протиснуться – коснувшись бедрышком его бедра, а прикрытой колючим кружевом блузки грудью – руки.

– И-извините, – побагровев пробормотала самочка и, повернувшись, торопливо поскакала вниз по лестнице. Испугалась? Ничего, страх – это естественно. И возбуждающе. И доказывает, что большинство людей – суть животные.

Да, об этом будет его следующая книга, та самая, которую после, спустя сто, а может, и двести лет назовут гениальной. Ведь именно он первым обратился к этой теме, первым остро и без прикрас, без стеснения описал путь обратной эволюции – от человека к животному.

Настроение поднялось, и он еще немного постоял на площадке, подыскивая слова, достойные первых строк будущего гениального творения, и только потом нажал кнопку звонка. И почти не ощутил раздражения при виде жены.

– Привет, дорогая, – он даже поцеловал ее в напудренную щеку, просто так, из хорошего настроения. – Мне никто не звонил?

– Нет, – привычно ответила она. Ну конечно, люди слишком тупы и завистливы, чтобы с ходу оценить чужой гений. Ничего, локти себе потом кусать будут.

* * *

В этом доме не было места детям. В этом доме и взрослые чувствовали себя неудобно, но продолжали уговаривать себя, что им повезло, что квартирка-то могла уйти, к примеру, Степанычу, у которого пятеро и льготы, или Свиридову, потому что передовик, или Маньшиной – у нее ни детей, ни успехов в труде особых, зато братец родной в замдиректорах завода. И послушно радовались, что оказались быстрее, хитрее, прозорливее, и спешили добыть то небольшое, что можно было найти в разоренной войной стране. И уходили в дом последние деньги, но без сожаления, без тоски – ведь свое же, себе же, или детям.

Только вот не было в доме места детям. Не появлялись они на свет, точно ощущая враждебность каменных стен, опасность высоких ступенек и неудобных перил, неудобность комнат-пеналов, созданных искусственно возведенными перегородками.

Ничего, терпели, ждали, плакали в подушку бабы, шепотом обменивались «верными» рецептами, адресами бабок-шептуньих, затертыми квадратиками польских иконок да дешевыми оловянными крестиками, замоленными в несуществующих церквях. Мужики старательно не слышали шепота, делали вид, что не видят слез, терпели скандалы, день ото дня учащавшиеся, и продолжали обустройства пустые гнезда квартир.

Постепенно люди свыкались. Некоторые начинали пить. Клавка из первой квартиры завела шестерых котов. Манька из третьей начала затяжную войну с домуправлением, требуя выселить и Клавку, и котов. Федина из второй с упоением ринулась в дебри дипломатии, то примиряя враждующие стороны, то, когда примирение было достигнуто, стравливая на пустяках. Васина из четвертой спивалась, но делала это тихо, никому не мешая, и только супруг раздражался, поколачивал да раз в месяц выставлял пьянчужку на улицу. Но опять же делал это без криков и особого рукоприкладства, ущерб общественному имуществу, в отличие от котов, не наносил, а потому жильцы воспринимали семейный разборки с философским спокойствием.

Все изменилось в один день. И начались перемены с пустяка, со щегольской черной «Волги», которая подъехала прямоком к подъезду и, развернувшись, стала на клумбе, раздав только-только распустившиеся петунии, сочные клубочки молодила да высокие хрупкие кусты водосбора. И Клавка, и Манька, и наблюдавшая за ссорой Федина от подобного нахальства замерли. А когда отмерли, никто не сказал ни слова: из машины вышли дети. Нет, они приехали не одни, с моложавой, упакованной в итруксовый костюм и шляпку-таблетку дамочкой, с солидного вида господином в белом пиджаке, с шофером, который суетился вокруг авто, извлекая один за одним рыжие чемоданы.

Но эти люди были пусть и необычны, но неинтересны. Другое дело дети. Старший как раз такой, каковым представляла собственного сына Клавка – подросток, стройненький, курносенький. И аккуратный – вон, на костюмчике ни складочки. И в очочках – значит, умный, и портфельчик держит бережно...

А Манька с девочки глаз не спускала: лет пять с виду, а прехорошенькая – сил нету. Волосики мелким бесом вьются, глазенки что твои озерца, губки бантиком. И в платьице нарядном, с оборочками да кружевцами, в носочках беленьких да туфельках розовых.

Федина же сразу решила, что лучшие всех младшенький, настоящий херувимчик, каких на иконках малюют. Пухленький, очаровательно-неуклюжий, стоит, ладошкой в бок машины упершись, кулачок в рот сунув, да смотрит так испуганно.

– Ах ты, мой хороший, – сказала Федина, протягивая руки. И мальчишечка, радость-то какая, пошел к ней, косолапенький, кривоногий, по-детски трогательный.

Она как-то сразу забыла и про даму в костюме, и про ее супруга в белом пиджаке, и про шофера с чемоданами, и уж давно – про очередную кошачье-домуправовскую ссору. Этот мальчик был ее. Он не мог, не имел права принадлежать еще кому-то...

– Слава! – воскликнула женщина, подхватывая съехавшую с плеча сумочку. – Слава, нельзя! Иди сюда, немедленно! Вацлав, ты обещал, что найдешь няню...

– С детьми посидеть? – тут же встрепенулась Клавка, выпуская кошака – тот, плюхнувшись на землю, воззрился на хозяйку с недоумением. – Я по всему соседка. Из третьей квартиры. И свободная сегодня.

Дама вымученно улыбнулась, с надеждой глянула на мужа, тот пожал плечами. А Федина поняла, что ненавидит – и приезжих, ну кроме детей, конечно, и Клавку, оказавшуюся слишком уж умной. Это она, Федина, должна была додуматься, это ей бы разрешили посидеть с детьми, и она постаралась бы, сумела сделать так, чтоб этот раз стал не последним.

А Клавка все испортит. У Клавки шесть кошек, а кошки – это блохи, клещи и лишай с псориазом. Нельзя ее к детям, нельзя... но мужчина, протянув руку, представился:

– Вацлав Сигизмундович, это Элька, моя супруга. Сергей, Дарья, Милослав.

– Клавдия, – сказала Клава, покраснев от завитой макушки до выглядывавших из шлепанцев пяток.

– Мария.

– Анжелика, – гордо представилась Федина, впервые в жизни порадовавшись необычному имени. А что, ничем не хуже Эльки. Или Дарьи. А мальчика, значит, Милославушкой зовут, Милочкой.

Он и вправду очень мил.

* * *

Приезжие поселились в пятой квартире, чем вызвали резкое оживление давно было поутихших споров. Камнем преткновения являлись многие вещи, невозможные и удивительные. Взять хотя бы тот факт, что занимала квартира весь этаж, так мало того, на протяжении лет пяти она пустовала, и выяснить, кто ж таки был приписан на этих огромных площадях, не удавалось. В прояснении вопроса не помогла и коробка конфет «Ассорти», поднесенная паспортистке, ни бутылка «Столичной», исчезнувшая в ящике сантехника из ЖЭКа, ни даже близкая родственница Клавы, работавшая в горсправке.

Время от времени кто-либо из жильцов дома, либо же родственников, либо и вовсе случайных знакомых, прознавших про пустующее жилье, принимался строить планы по захвату территории, собирал справки, подписи, строчил петиции и доклады, но все усилия оказывались тщетны – пятая квартира хранила верность отсутствующим хозяевам. И вот они вернулись.

– Вот посмотрите, – шептала Федина Клавке. – Сейчас пообжигутся и на шею сядут. Элька-то та еще фифа, мужем крутит, как хочет. А он – ну точно бревно.

– Погляди-погляди, – журчала она на ухо Маньке. – Скоро устроятся, начнут нас выселять. А что, дом-то непростой, а где одна квартирка из особых, там и другая, и третья...

И Клавка, и Манька соглашались. Ворчали, высаживая вместо раздавленных петуний новые, привезенные с дач и уже цветущие. Вздыхали, глядя, как те сохнут, несмотря на полив и заботу. Вежливо здоровались с новой соседкой, подсматривали за детьми.

Те почему-то очень редко появлялись во дворе, хотя Клавкин супруг качели соорудил, а Манькин о песочнице заикнулся, по-простому, по-соседски. Оказалось: без надобности.

Детей жалели. Элегантную Эльку осуждали, а к Вацлаву Сигизмундовичу относились с почтительным уважением, особенно после того, как в доме крышу отремонтировали, причем сделали это быстро и на удивление хорошо. Верно, не обошлось без звоночка сверху.

В общем, постепенно к соседям попривыкли, перестали обращать внимание, позабыли и про детей, и про петунии, вернулись к былым проблемам и развлечениям. И только Федина все не находила сил успокоиться. Она высматривала, прислушивалась, собирала осколки сплетен, обрывки разговоров, мечтая, как в один прекрасный день из пятой квартиры исчезнет красавица-Элька, а освободившееся место – достойное, хозяйское и, что гораздо важнее, материнское, займет она, Анжела Федина.

Она опасалась говорить об этих мечтах вслух, не потому, что муж услышит – его уже давно ничего не интересовало, кроме пива-водки-футбола-шашек в соседнем дворе – боялась Федина иного: открой рот и подслушает кто-то безымянный, безывестный, а подслушав, извратит сказанное так, что в жизни не сбудется. А если и сбудется, то на горе.

Так оно и вышло. День, когда не стало Эльки, был премерзостным: с самого утра рядил дождь, сбивая с клена лопухи желтых листьев, просачиваясь сквозь рамы и разливаясь по подоконнику грязной лужицей, в которой плавали мелкие щепочки и пылинки. Пришлось тряпку класть и отжимать каждые полчаса, и материть супружника – у нормального мужика, небось, окна не текут.

С водой она боролась до серых сумерек, а потом бросила, села у окна, пнула сердито ведро с водой, скинула на пол скрученное жгутом полотенце и уставилась на улицу. Думалось о судьбе, о жизни, о том, что в свои тридцать три она достигла всего, чего хотела, и дальше остается и не жить, а тихо стареть на работе ли, среди тетрадок, учебников и чужих детей, которые в отличие от Милочки не вызывали иных чувств, кроме раздражения. Или же дома в бесконечной уборке-стирке-утюжке-готовке. Замкнутый круг, нарисованный ею для себя, был столь ужасающе реален, что Федина заплакала.

А потом плотную мглу прорезали фары, сначала одного автомобиля, потом другого. Полосы света пересеклись и легли во дворе огромным желтым крестом, в центре которого вырисовалась урна. Из машин вышли люди, спустя долю мгновения громко хлопнула дверь в подъезде, и по лестнице застучали каблуки. Громко. Страшно. Упреждающе.

Федина замерла. Она, не верящая в предчувствия, вдруг отчетливо поняла – случилось. Что и с кем? Где и когда? Не важно, главное, случилось. Главное, теперь ей жить иначе.

Смолкли шаги и секундную тишину, в которой единственным звуком было лишь звонкое хлопанье стекающих с подоконника капель воды, нарушил звонок.

На пороге, в раскрытом плаще, мокро и мятом, сжимая в руках фуражку, переминался с ноги на ногу молодой милиционер.

– А вы кем Федину Ивану приходитесь? – спросил он.

Похолодело. Скрутило тугим узлом внутренности, а губы сами выдохнули:

– Женой...

Милиционер молчал, взглядываясь в заплаканное лицо Анжелы, а потом, облегченно вздохнув, сказал:

– Так, значит, вам уже сообщили, да?

– О чем сообщили?

...о том, что Ванька разбился. Пара стопарей, халтура, перегруженная машина, мокрая дорога, плохая видимость... перекресток. И Ванька разбился.

Насмерть.

И Элька тоже. Она была в той, другой машине, невиноватая в происшествии, но тем не менее мертвая.

Невозможное становилось возможным.

Леночка

Выбежав на улицу, Леночка остановилась. Щеки ее горели, ноги дрожали, а ладони неприлично вспотели, и Леночка торопливо вытерла их о юбку. Ужас-ужас-кошмарище! Вот это тип! Она же не нарочно, она просто спешила, вот и не заметила, вот и налетела... Лестница в доме узкая и темная, а тип – высокий и широкий, как тот шкаф, который в спальне стоит и надо бы передвинуть, но куда передвигать – не понятно, как не понятно и то, кто этим заниматься станет.

Впрочем, в отличие от человека, шкаф просто себе стоит, а человек мало того, что разглядывал ее так, будто вот-вот набросится, прямо там, на лестнице, прижав к кованым перильцам или крашенной в зеленый стене, так потом и лапачи начал.

Мерзость! Леночка содрогнулась от отвращения. А потом представила, что это, наверное, кто-то из соседей, и содрогнулась еще раз.

И не зря ли Феликс сказал, что тут все – уроды. Но он мог и ошибиться, и вообще Феликс, он, может, и гений, но немного странный.

– Добрый день, – раздалось сзади. Голосок был тоненький, звонкий и радостный, а Леночка все равно испугалась. Но нет, сзади стоял не тип из подъезда, а совершенно незнакомый человек. Даже человечек, потому как росту он был маленького, Леночке едва-едва по плечо, а виду – совершенно удивительного. Отливала глянцевым блеском лысина, грозно топорщились седые бакенбарды, придавая их обладателю вид грозный и вместе с тем презабавный, а красный хрящеватый нос казался слишком большим для этого лица.

– Простите, если напугал, – он церемонно поклонился. Одет человек был в кургузую зеленую курточку, из-под которой выбивалась белая рубашка, пущенная поверх штанов в узкую полоску. – Позвольте представиться, Александр Дмитриевич.

– Леночка, – сказала Леночка, чувствуя, что снова краснеет, уже не от стыда, а оттого, что вот-вот рассмеется.

– Очень приятно, очень. А вы, значит, наша новая соседка? Просто замечательно, великолепно, чудесно, что я вас встретил! – он достал из нагрудного кармана белый платок огромных размеров и шумно высморкался. – Вы даже не представляете себе...

– Я опаздываю, – как-то сразу вспомнила Леночка.

– Да, да, конечно. Простите премного... но такое дело... Лелечка вечер устраивает, для всех. Понимаете, дом этот, он особенный, здесь соседи живут дружно, очень-очень дружно... и нам хотелось бы... мы были бы премного рады, если бы вы соизволили почтить... появиться...

– С удовольствием, – соврала Леночка, чтобы он отвязался, и на часики посмотрела.

– Замечательно, просто чудесно! Лелечка обрадуется. Лелечка познакомит вас со всеми... да, да, это будет чудесный вечер. В субботу? В восемь пополудни, вы не возражаете?

Он оглушительно чихнул и, шмыгнув носом, поспешил извиниться:

– Простите, тополя цветут. У меня их неприятие, а вот Лелечка цветы очень любит... но вы не слушайте, я старый и болтливый...

* * *

На работу Леночка, конечно, опоздала, на целых полчаса, но Степан Степаныч отбыл в командировку, а прочие, кажется, не заметили, и день, начавшийся суматошно, как-то сразу потянулся медленно и нудно. Леночка даже подумала, что могла бы и подольше поговорить с забавным соседом, к примеру, выяснить, что за тип ей встретился на лестнице, а еще в какой

квартире живут родители Феликса. Тут же мысли перескочили на самого Феликса и вчерашнее чаепитие, которое никак нельзя было назвать приятным... о чем они говорили?

Леночка не помнила.

Этот, не укладывавшийся в мировоззрение факт, поразил ее до глубины души. Она не могла забыть! Не могла и все! Она помнит в мельчайших деталях расписание Степан Степаныча на неделю, и на следующую тоже, и за прошлую, и за позапрошлую, и про то, что скоро у Евдокии Андреевны день рождения, а потом, спустя три дня, у ее дочерей. И что нужно заказать розы, но непременно бордовые, сорта «Руби ред», потому что другие Евдокия Андреевна не примет. А близняшкам заказывать не розы, а цветочные композиции, но чтобы без лилий и тюльпанов – на лилии у девочек аллергия, а тюльпаны по мнению Евдокии Андреевны слишком дешевые цветы...

Тысяча и один факт всплывали в памяти, теснили друг друга, пробегали лентой событий, уже случившихся и таких, которым еще предстояло случиться при ее, Леночкином, участии. Не было лишь одного – вчерашнего чаепития с Феликсом. То есть сам факт, что чаепитие состоялось, наличествовал, а вот разговор... ощущение гадливости... почему?

Она попробовала вспомнить еще раз, потом снова. Вот дверь подъезда, солидная, деревянная, открывается с протяжным скрипом. Узкая лестница, круто уходящая вверх. Ключ, дважды повернувшийся в замке. Прихожая. Замечание Феликса по поводу коробок и Леночкина обида – она же недавно переехала, она просто не успела со всем разобраться. Дальше – кухня. Чайник – электрический, темно-красный и солидный, как фирма, его изготовившая. Стол. Скатерть из жатого шелка...

Веселая трель телефонного звонка так и не дала Леночке додумать.

– Ленусик? – мамин голос был полон оптимизма и радости. – Ленусик, ты не занята?

Как будто, если бы она была занята, это остановило маму.

– Нет.

– Замечательно. Быстренько скажи своему сатрапу, что тебе нужен выходной и давай в центр...

– Зачем?

– Как зачем? Мы же договаривались, или ты забыла? Обои.

Ну да, обои, в гостиную, а еще в коридор, и возможно, на кухню, хотя мама настаивала на плитке, ее подруга, Эльжбета Францевна – на испанской штукатурке, а мамин новый муж ни на чем не настаивал, но денег дал. Он вообще привык решать все проблемы именно так.

Леночка вздохнула, но мысленно, чтобы не обидеть маму, и осторожно напонила:

– Мы же на завтра договаривались. Завтра суббота и...

– Завтра у Гоши теннис, а потом мы приглашены на вечер, послезавтра...

...Послезавтра кто-нибудь умрет, – Феликс щурится и держит чашку обеими руками, чай пополам с молоком и кусок батона на коленках, крошки прилипли к шортам, а на майке виднелось свежее пятно. Вареньем капнул. – Вот увидишь, здесь часто кто-нибудь умирает.

– Кто?

– Когда как, когда кошка, когда собака. – Феликс поставил кружку и, потянувшись через весь стол, щелкнул по стенке аквариума. – Когда еще кто-нибудь.

...нет, мне вот интересно, для кого я это все делаю? – трубка в руке зудела маминым голосом. – Я в срочном порядке крою свое расписание, чтобы найти пару часов, а она...

– Прости, мама, – привычно ответила Леночка и потрогала лоб. Кажется, горячий. Заболела? Ну да, все просто, она заболела и отсюда провалы в памяти, и еще ужасы эти. Мальчишка над ней просто издевался, а она поверила.

Из-за болезни. Простудилась.

– В общем, так, я жду тебя в «Доминошке», – строго заметила мама. – И вообще, я не понимаю, зачем тебе...

Обязательную порцию рассуждений, знакомых от первого до последнего слова, неизменных в оттенках интонации, во вздохах и паузах, Леночка выслушала почти с радостью. Мамин монолог успокоил своей знакомостью и обыденностью, и даже приказ явиться немедленно не испугал.

В конце концов, обоями и вправду надо бы заняться, а Степан Степаныч в командировке.

* * *

– Нет, Ленусик, розовые обои – это... это даже не пошло. Это невообразимо! – мама закатила глаза и, сложив руки над грудью, вздохнула. Леночка тоже вздохнула – от обилия цветных, однотонных либо же расписанных узорами, гладких и давленных, бумажных и виниловых, эксклюзивных и самых обыкновенных обоев голова шла кругом. И кажется, начиналась мигрень. Впрочем, менеджер по залу тоже вздохнула, но беззвучно и сохраняя на лице приличествующую моменту улыбку.

– И голубые не пойдут. А вот это что? Покажите, будьте любезны, – маменька ткнула пальчиком в верхний рулон, блекло-серый, с розовыми и желтыми кляксами. – Как тебе? По моему, мило...

– Отвратительно, – Леночка представила себе серо-розово-желтую спальню и содрогнулась.

– Ну не знаю, на тебя не угодишь. А вон те как? Нет, темновато... а эти наоборот слишком... впрочем, белый цвет... но для спальни...

Она двигалась вперед, неугомонная и неутомимая, разглядывая все новые и новые рулоны, а Леночка только и думала о том, как бы поскорее выбраться из этого разноцветного лабиринта, чтобы домой, чтобы к окошку, из которого виден хрупкий силуэт молодой осины...

...Раньше был клен.

Леночка остановилась. Моргнула и головой тряхнула, прогоняя наваждение. Раньше? Да не было никакого раньше, она неделю как переехала, ни разу не была в доме или во дворе. И вообще они с мамой в другом городе жили, у маминих родителей. Но и там во дворе клены не росли – яблони, груши, две вишни и одно абрикосовое дерево, которое никогда не плодоносило.

Так откуда клен взялся? И листья как сейчас – огромные, темно-красные, в королевский пурпур, с тугими желтыми жилочками.

– Ой, смотри, Ленусик, какая прелесть! Чудо! Девушка, будьте добры, разверните... да, вот так...

По бледно-голубому полю летели листья, блекло-золотые, желто-зеленые, желто-красные, красные и багряные... кленовые... шуршащие... шелестящие.

...Топ-топ, кто идет? За спиною за твоей? Раз-два-три-четыре-пять, я иду тебя искать...

– Лена? Что с тобой? Леночка, господи... да ей плохо, вы что, не видите?! «Скорую»... – мамин голос пробивался сквозь шелест листы, но слабо, и казалось, что еще немного и он исчезнет, утонет, растворится, и тогда Леночка останется совсем-совсем одна.

Брат

Обморок? Дурочка грохнулась на синий ковролин, громко и некрасиво, так, что юбка задралась, обнажая шортики колгот – а он-то думал, что у нее чулочки, с резиночкой и остающейся потом полоской примятой кожи, которую можно было бы разгладить пальцами.

Но нет, никаких тебе фантазий, обыкновенные колготы, даже с дорожкой на левой ноге, хотя сама нога ничего, милая такая ляжечка, в меру пышная, в меру мягкая. Подойти бы поближе, посмотреть на лицо, на выражение, что там? Беспомощность? Растерянность? Или ничего? Унылый паралич черт и размазавшейся косметики.

Ничего, он еще увидит это лицо – разным увидит, он постарается вызвать всю возможную гамму чувств, а потом найдет то единственное, которое спрячет в свою коллекцию.

Он уже купил несколько чистых дисков.

Девушку быстро привели в чувство, усадили на стул, сунули в руки бутылку с минералкой, помогли расстегнуть блузку – всего две пуговицы, но как волнительно. Нет, жаль, что ближе нельзя, не время еще, только и остается, что разглядывать исподволь, ее и ту, вторую, которая постарше и молодится изо всех сил. Вот повернулась в профиль. Неужели это? Нет, быть такого не может!

Или может? Она, определенно, она... а значит, блондиночка не случайно оказалась в доме. Что ж, тем интереснее играть.

– Мам, пожалуйста, пойдем домой, – громко сказала девушка, застегивая пуговички. – Мы... мы потом обои купим.

Фрейлина

– Леля, ну сколько можно говорить. Все кончено. Все! Кончено! – рявкнул он на ухо. Зачем? Она не глухая, она просто не в состоянии понять, как это возможно, чтобы все вдруг закончилось. Ведь так хорошо было, так удобно, так...

– Не нужно больше сюда приходить. Понятно?

– Своей боишься? – У лифчика вдруг лопнула бретелька, и от обиды Леля едва не разревелась. Унизительно-то как... она красиво бы ушла. А перед этим медленно оделась, медленно поднялась и медленно, с наслаждением врезала бы по этой самодовольной роже.

А тут раз и бретелька... и теперь либо узелком завязывать, либо отдирать, чтоб не свисала по спине, либо вообще лифчик снимать. И куда? В сумочку не влезет...

– Леля, ну не устраивай ты сцен, с самого начала все ясно было.

Кому ясно? Ему? Ур-р-род! Тварь! Скотина!

– Ну сама подумай, ты – замужняя женщина, и семья у тебя хорошая, Шурик тебя любит...

Шурик – мокрица, и любит ее только потому, что без нее не выживет. А этот врет, нарочно, чтоб поскорее от нее отделаться. Проглотить обиду, улыбнуться и спросить.

– Ты на ужин придешь? Шурик решил вот устроить... обещал какое-то мясо по особому рецепту.

– У него все по особому рецепту. – Гаденыш наклонился и, подобрав с пола юбку, подал. – Леля, я не хотел бы выглядеть мерзавцем, но тебе надо бы поспешить. Шурик скоро вернется, да и мне пора.

Куда это, интересно, он собрался? К своей? Так она только через три часа освободится. Значит... значит, у него другие планы. Новенькая! Леля рассмеялась, ну конечно, следовало бы догадаться. Лакомая девочка в кружевах и кудряшках, наивная ромашка против подвядшей лилии.

– Знаешь, а ты прав. С самого начала это было... бесперспективно, – нужное слово нашлось не сразу. – Но на ужин приходи, Шурик его ради девочки затеял, ну той, которая из третьей квартиры, ну, понимаешь, чтобы познакомить со всеми.

Выражение его лица не изменилось – сволочь! Красивая сволочь. Умная сволочь. Мертвая сволочь. Леля еще не знала, как, но внезапное решение разом уняло боль и обиду. Никто не смеет так с ней поступать.

– Тогда, верно, стоит придти, – он небрежно коснулся щеки губами. Прощальный поцелуй с запахом мяты и вежливое: – Тем паче, ты пригласила... когда я мог тебе отказать. И спасибо, милая, ты просто чудо.

А ты – труп.

– Ты тоже, – ответила Леля, вместе с лифчиком пряча в сумочку склянку. Она не знала, что внутри, она лишь надеялась на везение.

Гений

Новенькая вернулась поздно – и где только шлялась? Небось, дискотеки, бары, незамысловатый трах с подвернувшимися убогими самцами, которые рассыпали перед нею бисер краденых фраз. О да, он хорошо знал, как это бывает – понадергают из сети или учебников, из мерзопакостных изданий вроде «Маркес за сорок пять минут» – и выучат наизусть.

Весь этот мир создан для убогих. И сам убог. И лишь тот, кому выпала судьба увидеть серость и пошлость, восстать против нее, поправ обнаженным откровением слов, сумеет в вакханалии агонии зажечь искру возрождения.

Он отвлекся, чтобы записать родившуюся фразу, и потому не увидел, как девица вошла в подъезд. И расстроился сначала, а потом подумал, что деваться ей все равно некуда – раз вернулась, то наверняка отправилась к себе, в мещанское гнездышко квартиры, а фраза могла бы и исчезнуть.

– Ужинать будешь? – некстати влезла под руку жена, он еле-еле успел захлопнуть записную книжку и, разозлившись, заорал:

– Чего лезешь? Я же просил не беспокоить!

Жена повела плечами и дверь закрыла. Глупая самка. Стареющая самка. Надо ей сказать, что у нее мешки под глазами. И морщины на шее. А что, он не должен врать, особенно в таких мелочах, жестокая истина правит миром, собирая кровавые жертвы... Записать? Или все же поесть? В животе противно заурчало, тело – вот пошлость следовать примитивным инстинктам естества – требовало пищи. И выждав минут пятнадцать, он нехотя слез со стула, приоткрыл дверь – в коридоре, как и ожидалось, было темно. Значит, жена в гостиной, уставилась в телевизор, разрушает остатки мозга каким-нибудь тупым сериальчиком.

На кухне нашлись макароны, остывшие и слипшиеся в желтые извилистые комки. На мозг похоже. Точно – склеенное тесто как символ окончательной деградации сознания современного человека, а подлива – это то, чем пичкают людей писатели и режиссеры, котлета же...

– Да нет, дорогой, он занят, – тихий голос жены нарушил творческую медитацию. – Он книгу пишет... очередную... теперь до полуночи не вылезет, разве что пожрать.

Это она про кого? И кому?

– Ой, да какой он гений... – она всхрюкнула, ловя смешок. – Я тоже думала, что гений, а потом почтала...

Она лазила по его записям? Касалась грязными ручонками его рукописей? Читала?

– Да мат и похабщина. Извращенец он, а не гений...

Да разве она способна понять?! Тупая, опостылевшая, оскотинившаяся самка с обостренным хозяйственным инстинктом!

– Нет, завтра не получится, – печально сказала жена. – Нас соседи на ужин пригласили...

Вцепившись обеими руками в фарфоровую тарелку, он на цыпочках вышел из кухни. Он ее убьет. Не за измену, но за то, что она посмела... посмела трогать, читать, говорить... не гений, значит?

Ничего, скоро все-все увидят, узнают, поймут, что такое – истинная гениальность, не на словах, а наяву.

Наследник

– Дорогой, как ты думаешь, уместно ли будет сделать подарок? – поинтересовалась Императрица, откладывая в сторону вышивку. Третий месяц закончить не может, а прежде, когда он только-только появился в этом доме, за неделю управлялась. Он еще удивлялся, как это – стежочки махонькие, картины огромные, а она – за неделю. А тут третий месяц... неужели, возраст сказывается? Неужели она, наконец, сдохнет и освободит его?

Страшно надеяться.

– Какой-нибудь милый пустячок...

– Кому?

– Ну ты же слышал, мы с тобой приглашены к ужину, который Лелин супруг устраивает в честь той девочки. А ты не говорил, что у нас новая соседка. Нехорошо...

– Забыл.

Не поверила, что, впрочем, неудивительно – эта старая карга никогда никому не верила, а уж ему-то тем паче.

– Нарушаешь договоренность, – легонько упрекнула она. Неужели отчитывать не станет? Нет, снова к пальцам потянулась, положив на колени, скользнула сухими пальцами по шелку, отстранилась, удивленно нахмурилась. – Ты нитки не того цвета купил... я красные просила.

– Они красные, – пришлось подойти, а он страшно не любил приближаться к Императрице. Шаг – и тяжелое облако духов, терпких и сладких, окутывает с ног до головы, второй – и в нем прорезаются слабые ноты горечи и страха, третий – остается лишь смрад истлевающей плоти. У императрицы сухие руки с длинными пальцами и вспухшими шариками суставов, коричневая кожа с пигментными пятнами и морщинами, желтые ногти и желтые зубы – вставить протезы она отказалась – а еще удивительно красивое, неправильное, неподходящее этому телу лицо. Оно тоже старое и морщинистое, но...

– Но ты посмотри, посмотри, что наделал! Ты испортил мне работу!

Тонкий нос, четкая линия губ, дуги бровей и серые глаза, потерявшие способность различать цвета. Дракон на шелке был красным, с темно-бордовым хребтом и только намеченным парой стежков брюхом.

– Он должен, должен быть красным! – продолжала причитать императрица. Игрет? Или и вправду с глазами проблема? Но вчера еще все нормально было.

– Вон! – она швырнула вышивку в угол и, приложив ладони к вискам, забормотала. – Это она, она подменила нитки... это все она... нарочно... мстит... отравит.

Точно играет, сомнений почти не осталось: старуха, может, и стерва, но не слабоумная.

– Но не отдам, хризантема принадлежит не ей! Она мамина... мамина она!

– Дарья Вацлавовна!

Он растерялся, пожалуй, никогда прежде она не вела себя так не по-императорски.

– О боже! Что со мной? Голова раскалывается. Это все ты, в могилуводишь, никакого уважения к старому больному человеку, – старуха торопливо смахнула слезы и заныла, уже привычно и притворно, а он обрадовался – значит, приступ настоящий.

Значит, ждать уже недолго. Господи, если б кто знал, как он устал ждать.

* * *

Два дня до похорон Федина пребывала в состоянии, о котором сама себе шепотом твердила – «иное». Или еще «раздвоенное». Одна часть Анжелы, послушная обычаям, нарядившись в черное, повязав голову атласной лентой, хлопотала, изыскивая достойный гроб, венки,

машины, автобус для родни и для нее же – места переночевать, продукты на поминки и место на кладбище. Все это, будучи таким разным и одинаково нужным, перемешанным с чужими слезами и стенаниями, отнимало силы и избавляло от необходимости думать о происходящем в пятой квартире.

Впрочем, вторая половина Фединой нашептывала о том, что черные траурные тряпки отвратительны, скулеж Ванькиной родни – не более чем дань обычаям, что им бы радоваться: не погибни Ванька, точно б сел, а кому в анкете уголовник нужен? Та же половина, прежде незнакомая, но уже ставшая привычной и родной, даже более родной, чем первая, потихоньку выстраивала план проникновения к соседям. Она уговаривала подождать, набраться терпения, не срывать на пьяного Ванькиного брата, на его дуру-жену, которая закатила скандал, на переиештывания тетюшек, осуждавших ее, Анжелу, за невесть какие грехи.

Но ничего, все это пройдет. Уедет в Псков тетка Фима, укатит в Задольск швагерка, уберется в камору на другом конце города Ванькин брат. Исчезнут они, сначала ненадолго, появившись на девять дней, потом, возможно, соберутся на сорок, потом – на годовщину... А дальше – она, свобода.

Подняться в пятую квартиру Федина решила на третий день после похорон. Она долго мялась перед дверью, то протягивая руку к кнопке звонка, то одергивая, продлевая ожидание и повторяя заготовленный заранее текст. Но увидев Вацлава Сигизмундовича, растерялась.

– Здравствуйте, – сказала Федина, чувствуя, как загораются огнем щеки. – Вы... вы извините за беспокойство, но... я ... я Ивана жена. Я хотела спросить...

Запинаясь, заикаясь, она мямлила то ли оправдания, то ли извинения, понимая, что не нужны они, что ничего не изменят, не исправят, и радовалась этому, и боялась – а вдруг Вацлав Сигизмундович захлопнет дверь, навсегда отрезав от нее желанный мирок пятой квартиры. Но нет, он отступил и сухо сказал:

– Проходите.

За порогом не было ни несметных богатств, ни роскоши в привычном ее представлении: обыкновенная прихожая, пожалуй, лишь очень большая и стерильно чистая. Коридор. Запертые двери, которых насчиталось пять. Из-за одной доносилось унылое треньканье пианино, и оно да плюс еще сухой болезненный кашель Вацлава Сигизмундовича оставались единственными звуками. В квартире было пугающе тихо. Пахло еловыми лапками, смолой, чьими-то духами, острыми и неуместно нарядными, канифолью и нафталином. И еще пыльным мехом – Федина заметила курточку с рыжим воротником, брошенную в углу. Наклонилась, подняла, огляделась в поисках стула и только тогда подумала, что нехорошо сразу в чужом доме хозяйничать.

– Это Элечкина, – пробормотал Вацлав Сигизмундович, принимая куртку, прижал, погладил дрожащими пальцами лисий мех. – На той неделе привезли...

– Красивая, – не к месту ответила Федина.

– Элечка любила красивые вещи. Возьмите.

– Нет, что вы...

– Возьмите, – Вацлав Сигизмундович набросил курточку на плечи. Нечаянное прикосновение, холод пальцев, смущение. Неловкость.

– Вам идет. Вы извините, что так... мне тяжело. Вам ведь тоже? Вы его любили? Глупый вопрос, как иначе-то... я Элечку всегда. Без нее пусто и непонятно. Что дальше? Как вы справляетесь? Вы ведь женищина, вам тяжелее...

В тот вечер она задержалась допоздна. Сидели на кухне, пили чай, молчали. Порой Вацлав Сигизмундович, пребывавший в полудремотном состоянии, просыпался, начинал громко и радостно рассказывать об Элечке, о том, как они встретились, как он долго не решался подойти, потому что Элечка всегда красавицей была, а он – наоборот. Как потом все-таки

подошел, и оказалось, что он ей тоже нравится... Рассказов было много, и слушала Федина с искренним интересом, потому что история соседа сильно отличалась от привычного ее существования.

Она не заметила, как принялась примерять ту, чужую, уже случившуюся и даже обрвавшуюся жизнь на себя. Как курточку. И точно так же, как подаренная курточка, жизнь пришлась впору. Это она должна была родиться в далекой Варшаве. И учиться в Ленинграде. И там же, по набережной, гулять с русским поляком Вацлавом, который на отцовском языке уже и не говорит, понимает только, да и то через раз. Это она мерзла, попав под дождь и простудилась. Ей в больницу Вацлав таскал тюльпаны и розы, а потом оказалось, что цветы – краденые с клумб, и ей пришлось штраф платить, потому что у него денег не было.

И замуж в Ленинграде тоже она выходила. Белое платье, кружево фаты, накрахмаленной до хруста. И вечер в туалете кафе – токсикоз. Роды.

Карьера. Война и снова карьера.

Холодный чай с мягким запахом бергамота. Пианино замолчало. Шлепанье босых ног по полу, скрип двери, взгляд настороженных детских глаз и шепот:

– Даша, папа занят, пойдем спать.

– А сказку? Сказку хочу!

– Я прочитаю, – пообещала Федина, выныривая из омута своих-чужих воспоминаний. – Тебе про кого? Про Красную шапочку? Или про Золушку?

В детской было много книг, ярких, нарядных, чужих. Английских... французских... а русских нет. Почему?

– Про Орхидею, – потребовала Дашика, забираясь в кровать, Милочка захныкал и сестра, вздохнув совершенно по-взрослому, сказала: – Он на руки хочет. Мама всегда его на руки брала.

Кольнуло ревностью, которая тут же исчезла – нет больше Эльки, но есть она, Анжела.

– Желла, – повторил Милочка, обнимая за шею. – Желла.

– Тетя Желла, так вы знаете про Орхидею?

– Нет.

– А хотите расскажу? Я все помню, правда, Сергей?

– Правда, – не слишком охотно отозвался тот. Он лежал в постели, слишком взрослый для детской комнаты, повернувшись лицом к стене, и заметно было, что Анжелино присутствие ему в тягость.

– Расскажи, – Анжела погладила девочку по голове. Нет, нету любви, нету к ней нежности, чужая... а Милочка, сопящий Милочка – свой, кровный.

– В одной далекой-далекой стране, которая отгородилась от всего мира стеной, и жители думали, что под небом есть только их страна, а других нету совсем...

– В Китае, – бросил Сергей.

– ...жила-была девочка, которую звали Орхидея. А еще у нее сестра была по имени Лотос. Смешно, правда?

– Правда, милая.

– Орхидея очень хорошо умела две вещи: петь и притворяться. Только про то, что она притворяется, никто-никто не знал. Это была тайна, понимаете?

– Понимаю.

– И вот однажды, когда она гуляла и пела, очень-очень красиво пела, ее услышал король той страны.

– В Китае император был.

– Сергей, не мешай!

– Я не мешаю, только ты неправильно все рассказываешь. Дело было в Китае, до революции, в период правления императрицы Цыси.

– Которая Орхидея! – не выдержала Дашика. От обиды и нетерпения она подпрыгивала на кровати, неугомонная девчонка, а вот Милочка сидел спокойно, слушал сказку-историю.

– Ее первое имя переводилось, как Орхидея, но став Великой Императрицей Западного дворца, она решила, что будет зваться Цыси.

Надо же, какой умненький мальчик, но все равно несимпатичен.

– Цы-си, Цы-си, – захихикала Дашика. И Милочка разулыбался, подхватил:

– Цы-си!

– Тихо, – рявкнул Сергей, садясь на кровати. – А то дальше рассказывать не буду.

Дети послушно примолкли, только Дашика из вредности высунула язык.

– После смерти супруга, Цыси удалось стать единовластной правительницей Китая. Она была глупой и жестокой. Она тратила деньги, а народ голодал. Случались войны и восстания, но Цыси ничего не замечала, ей главное, чтобы ей хорошо было. Она жила, спрятавшись от мира в Запретном городе, устраивала развлечения и предавалась разврату.

Федина, не выдержав, хихикнула, до того нелепо звучала фраза из уст этого пацаненка. Он, наверное, и понятия не имеет, что за этим словом стоит... разврат...

– А еще она очень любила драгоценности, всякие и разные, чем причудливее, тем лучше. Во дворце у нее имелась специальная комната, где хранились украшения.

– Их было много-много, – помогла Дашика.

– Черные лаковые коробки, пронумерованные для удобства. И когда императрица наряжалась, она приказывала принести коробку с таким-то номером.

До чего странная все-таки сказка. И даже не сказка, а история... или придумка? Опасная какая-то придумка, неправильная.

* * *

Почему-то никто не пытался остановить Анжелу, запретить ей появляться либо же наоборот, упорядочить ее визиты, очертив их рамками службы, чего она втайне опасалась. Но нет, Вацлав был задумчиво-рассеян, погружен то в работу, то в горе, которое с течением времени не спешило слабеть, напротив, день ото дня оно становилось глубже, заполняя собою замкнутый мирок квартиры, гримасами лиц отражаясь в темных зеркалах, угрюмо взирая с портретов, растекаясь запахом духов, разлитых Дашей.

Это чужое горе коснулось и Феდიной – молчаливое сочувствие Клавки и Маньки, неожиданный визит почти трезвой, но жаждущей «посидеть за упокой» Васиной, и ставшие почти ежевечерними разговоры с Вацлавом.

Они были нужны, они позволяли заглянуть в окошко прошлой жизни, снова узнать себя, снова украсть кусочек чего-то, чем она, Анжела, несправедливо обделена с рождения.

Незаметно минули памятные даты смерти, оставившие горьковатый привкус раздражения, горы немытой посуды да ломаные гвоздики в мусорном ведре, которые она так и не отнесла на кладбище.

На сорок дней Федина даже напилась, в одиночку, перед зеркалом, разглядывая себя и сравнивая с Элькой, фотография которой, украденная из альбома, стояла тут же, рядом.

– Я буду такой, как ты. – Анжела налила первую стопку. – Я буду лучше тебя.

Узкое лицо, тонкий нос с горбинкой не в меру длиннен, подбородок остренький, а губы пухлые, бантиком. Некрасива Элька. Броская собой, но некрасивая. Просто повезло.

Вторая стопка за упокой души, обеих душ. Пусть уходят, пусть оставят в покое.

И чудится упрек в узких Элькиных глазах, и насмешка в уголках губ, и презрение.

– Ты ушла. Нет тебя! Нет! А я – есть! Понятно?

Третья стопка за удачу, чтоб вышло все по желанию... по щучьему хотению, по моему велению... шепот дымом по стеклу, тени по углам, подслушали загаданное и теперь не сбывается.

Четвертая стопка.

Свадьба.

Леночка

Обморок, случившийся в магазине, напугал Леночку, а маму расстроил и убедил, что решение дать Леночке свободу было преждевременным. Зачем свобода, если Леночка – неприспособленная, беспомощная и за неделю довела себя до ужасного состояния?

Впрочем, мамин напор, к удивлению, был слаб и скорее даже формален, иссякнув минут за пятнадцать, он выкристаллизовался в чередѐ советов и требовании непременно обратиться к врачу.

Она обратится, обязательно, но позже. Завтра к примеру... нет, завтра воскресенье и ужин, на который она приглашена. Значит, в понедельник.

С этой мыслью Леночка и заснула, а проснулась от звонка – старый аппарат, солидный, из тяжелой черной пластмассы, изуродованной трещиной, судорожно трясся на столике.

– Да? – Леночка прижала трубку к уху. Холодная. И неудобная, потому как здоровущая. Трубка дышала и потрескивала, а отвечать не торопилась, и только когда Леночка, убаюканная тишиной, уже решила было положить ее на рожки-держатели, вдруг спросила:

– Девочка-девочка, а зачем тебе такая большая грудь?

– Что?

Трубка засмеялась.

– Девочка-девочка, а зачем тебе такие красивые ножки?

– Вы... вы что себе позволяете! – Леночка ударила по телефону раскрытой ладонью, обрывая связь, и взвыла от боли – рожки-держатели оказались острыми и разодрали кожу, царапина кровила, ладонь болела, а на душе было мерзко.

Красные капельки скатывались за запястье, собираясь нарядной ленточкой... шелк, красный шелк, скользкий и блестящий. Холодный. Пахнет вкусно. Хочется нюхать, хочется трогать, играть, ловить непослушную ткань, которая почти как вода – возьмешь на ладошку, а она стекает. Только вода синяя, а шелк – красный.

– Что ты наделала, дрянная девчонка! Ты... ты вымазала! Серж, она испортила костюм, его теперь только выбросить!

Пощечина и красный, но уже не шелк, а капельки, из носа, у нее иногда бывает и сейчас вот. Капельки тук-тук о ладошку, тук-тук... каблуки цок-цок.

Дзынь!

Телефон вырвал из воспоминаний – не ее, не Леночкиных, чужих и специально подсунутых ей, чтобы испугать – телефон освободил. Телефон требовал Леночку, и пока она будет говорить, чужая память не сможет добраться.

– Аллю?

– Ленка? Это Феликс. Слушай, можно я к тебе зайду?

– Феликс?

– Феликс, Феликс, – подтвердил гадкий мальчишка. – Не тупи. Так я зайду? Или ты тоже спать?

На часах полтретьего ночи, и как он зайдет, если так поздно уже? А родители, а нянька?

– Нянька – дура, – сказал Феликс, забираясь на диван, очередной увесистый том, который он с собой притащил, положил рядышком. Леночка подсмотрела название – «Психология насилия» – и вздохнула. Ночь определенно обещала быть тяжелой.

– Ну дура же, сунула в кровать, дверь прикрыла и умотала на вечерину. Трахаться будет, – со знанием дела добавил он после секундной паузы. И тут же поинтересовался. – А ты тоже трахаешься?

– С кем? – Леночка почувствовала, что краснеет, сильнее даже, чем от того, первого звонка, и сильнее, чем после встречи на лестнице. А Феликс ухмыльнулся, потер переносицу, поправил очки и сказал:

– С кем-нибудь. В конечном итоге, насколько я понял, неважно, с кем. Процесс тот же, возбуждение нервных окончаний и...

– Заткнись!

– А повышенная раздражительность свидетельствует о нарушенном гормональном балансе.

Малолетний паразит, гений и прочее, прочее, прочее, был самоуверен. А еще Леночка понятия не имела, что этой самоуверенности противопоставить. И потому спросила.

– А родители твои где?

– У меня нет родителей, – спокойно ответил Феликс, поправляя съехавшую бретель шорт. – Это хорошо, от родителей одни неприятности.

– Ты сирота? Нет, – Леночка вспомнила. – Ты врешь. В прошлый раз ты говорил...

Ничего он не говорил. Но этого быть не может, ему же и пяти нету, как это, чтобы пятилетний ребенок, пусть и трижды гений, жил один?

– А вот так, – он забрался на диван с сандалями, почесал голую ногу, на которой виднелось зеленое пятно синяка. – Обыкновенно. Умерли, когда мы жили в другом месте. Мне пришлось уехать. Мне пришлось поселиться здесь, потому что только здесь я нашел такую дуру, которая согласилась за деньги сыграть роль тетки.

– Так не бывает!

– Бывает, Ленка, бывает. И ты это знаешь... ты это знаешь лучше всех...

Комната вдруг поплыла перед глазами, задрожали обои, осыпались на пол разноцветной пылью, освобождая другие – строгие, бутылочно-зеленые в узкую серебряную полоску. Шкаф перевернулся вверх ногами, потом сузился и расширился, точно деревянная тыква, готовая превратиться в карету. Дверцы покрылись морщинками, а те превратились в резьбу... И солнечный зайчик скользит по завитушкам, перетекая с одной на другую... на третью... на четвертую и так до самого пола. Нырять под шкаф, прятаться в клубочках пыли.

Зайчика хочется поймать, а пыль – потрогать, а вдруг и вправду, как шерсть? Нет, совсем не похожа, и к пальцам прилипла, и к юбке...

– Серж, ты посмотри, на кого она похожа! Мы опаздываем, а она...

Она ненавидит этот голос, и угловатый силуэт, который закрыл солнце и убил зайчика. Зачем?

– Она необучаема... ты и вправду готов всю оставшуюся жизнь возиться с этим... существом? Нет уж, милый, подобной ошибки я совершить не дам. Я настоятельно требую убрать ее. Куда? Да какая разница!

Под шкаф, она спрячется под шкаф, затаится и будет жить с комочками пыли, пока не зарастет ею вся, от головы до пяток. Она вдохнула поглубже и чихнула.

Проснулась. За окном светило солнце, шторы чуть покачивались и от движения их по полу бежали тени. Громко тикал будильник на прикроватном столике. Леночка села на кровати и, взявшись руками за голову, громко сказала:

– В понедельник я пойду к врачу.

И спустя мгновение, чуть тише и неувереннее, добавила:

– Я не сумасшедшая.

А в почтовом ящике лежало приглашение, самое настоящее, какие приносили в офис Степан Степанычу, а теперь вот и Леночке. Смешно как, соседи же, зачем приглашение, когда можно просто позвать?

Нет, она совершенно ничего не понимала.

Фрейлина

– Нет, нет, нет, ты же ничего не понимаешь в специях! – Шурик замахал руками, протестуя против ее вмешательства. – Лелечка, солнышко, милая моя, спасибо, но я сам. Да, да, сам. Иди, отдохни, расслабься.

Если бы она могла. Лечь, закрыть глаза, отрешиться от гнусавого голоса за стеной, подпевающего Малинину, от завывания миксера, от лязга кастрюль и кастрюлек, от запахов этих, которые уже не казались аппетитными, скорее уж вызывали тошноту.

Беременна?

Нет, глупости, в ее-то возрасте... ей просто обрыдло все это притворство, начиная с брака – вот уж и вправду, вышла замуж по недоразумению – и заканчивая пошлым подпольным романчиком, завершившимся также пошло.

Она все-таки легла, не переодеваясь, и не в спальне, а в гостиной, чего никогда прежде себе не позволяла, накрылась пледом, обняла фарфоровую куклу – просто потому, что хотелось обнять кого-нибудь, и зажмурилась, чтобы не заплакать.

Леля вспоминала, день за днем с того самого момента, когда появилась в этом доме. Картинки выходили мутными и совсем неинтересными, как многожды смотренное кино, и даже совесть, которая прежде оживала, нанося порой весьма чувствительные укусы, теперь спала.

На лоб легла теплая ладонь, пахнувшая смесью перцев, кардамоном, базиликом, имбирем, фенхелем и еще десятком приправ, менее знакомых, и Шурик заботливо поинтересовался:

– Леля, знаешь, мне кажется, ты заболела.

Не заболела, ей плохо, но это пройдет.

Скрипнули пружины в софе, прогнулись подушки, принимая Шуриков вес, и все тот же занудный голос продолжил трепать Лелечкины нервы:

– Что болит, милая? Голова? Желудок? Сердце?

Душа у нее болит. Или нет, уже не болит, потому что отмерла, деградировала за ненадобностью, ибо лилии по натуре эгоистичны, а теперь вот пусто внутри и странно немного, мешает пустота.

– Солнышко, ты не волнуйся, я сейчас позвоню и...

– Не надо никуда звонить. Я просто устала, – придется разговаривать с этим идиотом. Вот ведь, прожила с ним столько лет в одной квартире, спит в одной кровати, прикосновения выносит, а от одной мысли о том, что нужно разговаривать – выворачивает. И весьма буквально.

Лелечка едва успела добежать до унитаза. Рвало ее недолго, но мучительно, так, что и мысли, и пустота, и обида разом отошли на другой план.

– Лелечка, Лелечка... надо в «Скорую» звонить, надо врача... – Шурик скулил и заламывал руки. Мокричка, беспомощная, перепуганная мокричка. Каким был, таким и остался. Впрочем, зато теперь она поняла, почему замуж вышла – он, в отличие от того, первого, в жизни не осмелился бы возражать.

Даже сейчас одобрения ждал, глядел подернутыми поволокой слез глазами и вздыхал натужно, будто это ему плохо, а не ей. Лелечка сплюнула, брезгливо стерла нить слюны, прилипшую к подбородку и чужим, но строгим голосом сказала:

– Никуда не нужно звонить. Съела сегодня... на работе... в столовой.

– Господи! Я тебе говорил, нельзя там есть, нельзя! Они же готовить не умеют, они же сущие отравители, они...

– Заткнись.

Он послушно замолчал.

– Со мной все хорошо, я полежу немного, ладно?

Удивленный взгляд, выпяченная губа – решить не способен, ладно или не-ладно. Робкое предложение:

– Может, отменим завтра?

– Ни в коем случае, ты же так старался...

– Тогда... тогда я приготовлю для тебя что-нибудь особое, легкое, чтобы желудок не перегружать.

– Конечно, – ей хотелось поскорее вернуться на софу, лечь, натянув колючий плед верблюжьей шерсти и, закрыв глаза, снова заняться воспоминаниями. А Шурик, облегченно вздохнув, вернулся на кухню.

О таблетках и мести Леля забыла, больше ей это не казалось важным.

Гений

Скоро-скоро-скоро... от этой мысли сердце то пускалось бешеным галопом, частило, захлебываясь кровью, то испуганно замирало, и тогда пальцы крепче сжимали пластиковый пузырек. О, он уже успел изучить эту гладкую поверхность, с рубчиком шва на боку, со следами пота на скользких боках, с выдавленными в пластмассовом теле цифрами. Иногда он сжимал пузырек в руке и тряс над ухом, прислушиваясь, как грозно стучат испанские кастаньеты таблеток.

О да, Испания, родина ревности и мести, кровавых преступлений и бескровных отравителей. Нет, отравители были в Италии, но теперь, в возбужденном воображении эти две страны сплелись в единый образ, полный страсти и великолепия, дарующий оправдание.

К дьяволу, ему оправдание не нужно! Он признает вину, гордо и прямо выскажет им всем. О боли, которую испытал. А позже, когда о его преступлении станет известно обществу, когда оно всколыхнет, взбудоражит, вызовет пароксизмы агонии в сером сознании стада, он выплеснет кровь и гной эмоций на бумагу. Это будет лучшая книга.

Он – гений.

А она – лишь самка, расходный материал. Недостойное существо.

Существо заглянуло в комнату и поинтересовалось:

– Ты готов? Нам нельзя опаздывать.

Вырядилась. Для любовника, небось.

– Слушай, у тебя кожа и вправду желтая или это из-за платья? И задницу отъела... нельзя с такой задницей обтягивающую одежду носить.

Она вспыхнула, задрала подбородок и оскалилась, готовая укусить, но вместо этого вдруг расплылась в улыбке и, потрепав за щеку, промурлыкала:

– А ты вот не меняешься, как был хамлом, так и остался.

Он? Хамло? И это говорит женщина, неспособная отличить Гоголя от Гегеля? Не помнящая отчества Наташи Ростовской? Не знающая, с какой фразы начинается роман Хемингуэя «Прощай, оружие!»?

– Пошли, – сказала она. – Гений.

Стерва.

Материал.

Будущая книга, которая затмит и Достоевского с вялыми терзаниями его Раскольникова, и Толстого с беспомощностью Карениной, и папашу Хема с кукольным театром страстей... эта книга будет написана кровью.

– Что ты сказал? – жена обернулась, и он крепко сжал кулак, чувствуя, что пузырек вот-вот хрустнет. – И вынь руки из карманов, как ребенок, ей-богу...

О да, все гении – дети. А дети жестоки. Сегодня она это поймет.

Брат

Он нарочно опоздал, но в дверях столкнулся с Вельскими, которые тоже опоздали, пусть и не нарочно. Женечка очаровательно улыбнулась, а супруг ее, как обычно, погруженный в раздумья, рассеянно кивнул. До чего же нелепая пара! Жена – красавица, высокая, стройная и изящная, муж – угрюмый и бестолковый. Впрочем, про бестолковость он сам придумал, ему вообще нравилось придумывать про людей.

Открыла Леля – тоже хороша, но холеную физию портила печать стервозности.

– Ничайше прошу простить за опоздание, – он приложился к Лелиной ручке, вдохнув аромат крема и свежего ацетона, прилипшего к кончикам ногтей. Маникюр? Сама? Не вяжется как-то. И на мизинчике лак попорчен.

Вельский буркнул что-то неразборчивое и, совсем уж по-хамски отпихнув Лелю, прошел в квартиру. Женечка лишь плечами пожала. Как она живет с таким-то?

Но красавица. Зеленый цвет подчеркивает белизну кожи, забранные вверх волосы позволяют любоваться шеей, а декольте – мягкими полушариями.

Да... он даже испытал нечто сродни замешательству, – а может, все-таки с нею? – но проблему разрешила Леля, причем сделала это самым обыкновенным образом: усадила его рядом с Леночкой.

Замечательно. Просто-таки великолепно.

От нее пахло булками, сдобными с корицей и коричневыми капельками изюма, а еще молоком и вообще чем-то таким, совершенно несексуальным. Он расстроился, потому что то, что прежде представлялось интересным, желанным и вообще способным на некоторое время изменить его жизнь в лучшую сторону, на деле оказалось иным.

Обыкновенным. И пахнущим булками.

И запах этот был логичным продолжением сцены в магазине. От его бывшей жены тоже вечно тянуло сдобой. Как-никак на хлебозаводе пахала, в кондитерском цеху, и когда-то – вот ведь было время – ему даже нравилось вдыхать этот ванильно-коричный аромат, от которого веяло теплом и надежностью.

И жена была надежной, мягко-сдобной, податливой и пышной. Белое тесто кожи, изюминки-соски, глаза цвета жженого сахара... надоело быстро. А потом он тихо возненавидел и сдобу, и все, что с нею связано.

Тем временем ужин шел своим чередом. Он старался быть милым со всеми, улыбался, шутил и даже несколько раз, когда сие было уместно, приложился к мякотькой Леночкиной ручке. Та смущалась и краснела, принималась лепетать невнятно, а он гордился ее румянцем и дрожью в пальчиках.

Вот так... видела бы та, старшая, вот бы взбесилась.

– Я покурить, – Вельский поднялся из-за стола. – На балкон.

– Погодите, всего минуточку... – Шурочка вскочил, прижав кулачки к подбородку. – Мясо... мясо остынет, ему всего-то...

– Успеется, – огрызнулся Вельский. Ну и хам, но Леночка, густо покраснев, тоже встала.

– И-извините, мне... мне надо выйти, я скоро вернусь.

Все всё поняли правильно. Что ж, как ни прискорбно осознавать, но даже самые воздушные и сладкие с виду создания тоже гадят.

С другой стороны – курить и вправду охота.

Наследник

От этого ужина он изначально ничего хорошего не ждал, и чем дальше, тем тяжелее было выносить это лицемерие.

Скорей бы все откурились, поели расчудесной говядины под соусом с непроизносимым названием и разошлись по домам. Устал он, а еще и Леночка эта, откуда только свалилась? Теперь и за ней приглядывать придется, будто старухи мало. А карга ни за что мимо подобного экземплярика не пройдет. Леночка же слишком вежлива и слишком дура, чтобы избежать знакомства. Или не дура? Очередной кандидат, чтоб ее...

С другой стороны, а может, ну его, может, пусть сходятся? Тогда и старая на глазах будет, и молодая.

– Какое очаровательное создание, – Императрица повернулась к нему. Серые глаза ее счастливо сияли, а на щеках появился румянец. – Мила, свежа, непосредственна. Что еще нужно?

Правду, ему нужно знать правду об этой сахарно-карамельной Леночке, кто она, откуда взялась и чего добивается, тогда, наверное, он сможет принять решение.

– Она напоминает мне меня. В молодости, конечно, – смех-скрип и стук веера о подлокотник кресла. – В молодости, конечно. Ах, как давно это было, и сколь упоительны воспоминания... мы должны познакомиться с ней поближе. И мы просто обязаны с ней подружиться.

Леля, услышав, вздрогнула, очнулась ото сна и сухо поинтересовалась:

– И как вы планируете с ней дружить? Она же... примитивна.

– По-моему, ты преувеличиваешь, – заметила Женечка, мельком глянув на часы. – Извините, я скоро.

А она куда? Она вроде не курит, а туалет занят. Но ни Леля, ни Шурик, сразу вспомнивший о говядине, ни старуха на Женечкину эскападу внимания не обратили.

– Но все же девица чересчур... прямолинейна.

– И это хорошо. Это просто замечательно, правда, Геночка?

Не Геночка он, хотя ей не докажешь, ей все равно.

– И вечер просто чудесный. Спасибо, Лелечка, такой подарок... теперь мне будет с кем делиться воспоминаниями. Для начала воспоминаниями, – подчеркнула старуха, улыбаясь хитро и счастливо.

* * *

Если кого-то и удивила эта скоропалительная женитьба, казавшаяся да и бывшая жалкой попыткой вернуть утраченное бывшее равновесие, то виду не подавали – жалели. И ее, вдову, молодую да красивую, и его, пусть не молодого, но при троих детях, которым – каждый знает – без материнской опеки никак.

– Ну-ну, – только и сказала Клавка рыжему кошаку, последнему из шести, прочие уже с месяц как по новым хозяевам жили. Кошак не ответил, зыркнул зеленым глазом да когти в обивку вонзил, чуял, верно, что и ему недолго в этой квартире осталось.

– А соседей могли б и позвать, – пожаловалась Манька супругу, и тот согласился. Васина ничего не сказала, просто тихо напилась.

Могли бы, но не позвали: никого не хотел видеть Вацлав, которому эта свадьба, совсем на свадьбу не похожая, казалась предательством. Не желала застолья и Федина, по робкой просьбе супруга оставившая прежнюю фамилию. А дети к свершившемуся отнеслись и вовсе

равнодушно: Милочка был слишком мал, Дарья – замкнута, а Сергей и вовсе непонятен: вежливый, обходительный, но...

Нет, не лежала у Фединой к старшим душа, хоть и уговаривала себя, прищучала, улыбалась старательно, завтраки готовила, банты завязывала, сказки рассказывала, да сама понимала – ложь это.

Не такой она себе эту жизнь представляла. Впрочем, другой не было.

Постепенно Фебина привыкала и к Дарьиным истерикам, поводом к которым мог послужить любой пустяк, и к молчаливому, но постоянному упрямству Сержа, все и вся делавшего наперекор ее слову, и к равнодушию Вацлава. Эти трое стали неважны – чужие, случайные люди, существование рядом с которыми – необходимое условие, чтобы быть с Милочкой.

Милослав, Славик, Слава, Мила, Милочка, Милуша... Фебина могла придумать тысячу и одну вариацию дорогого имени и украсить каждую сотней оттенков нежности.

По утрам он, растрепанный и сонный, хмурится, злится, трет глазенки кулачками и капризничает. А днем – игривый, любопытный, все-то ему надо потрогать, до всего дотянуться... К вечеру устает, успокаивается и уже можно на ручки взять, обнять, погладить, утереть чумазую мордашку, уговорить отправиться в кровать и, открыв толстенную книгу сказок, читать. Милочка заснет почти сразу, сунув ладошки под щеку, улыбаясь ей и радуясь тому, что она, Фебина, рядом. Конечно, рядом: будь ее воля, она и ночевала бы в детской. Но Вацлав против.

Вацлав жесток. Он не понимает, что Милочка еще маленький, и ему забота нужна... Вацлав хочет от сына самостоятельности, ставит в пример Сержа, но тот в отца пошел – вежливая ледышка, а Милочка Анжелочкин, пусть и не ею рожденный, но ведь родной же.

Прошло пару лет. Как-то вдруг разродилась сыном Клавка. А чуть позже обзавелась дочкой Манька, не родной – приемной, светленькой да кудрявенькой, один в один похожей на Дарью. Впрочем, та подросла, подтянулась, очень быстро потеряв уютную детскую пухлость, которая сменилась угловатостью и худобой.

– В мать будет, – сказала как-то Клавка, с которой теперь пришлось встречаться часто: Клавка выходила с коляской, а Фебина – с Милочкой. – Ну вылитая Элька. На лицо поглянь. А повадки? Никто ж не учил, но материны... а Серезка-то отцовской породы, голова-стенный.

Фебина соглашалась, Фебина прикусывала язык, с которого готово было сорваться едкое замечание, что эти-то хоть понятно какой породы, а у Клавки в коляске прибудыш, не пойми от кого прижитый, небось, ни в мать, ни в отца – ясно, что нагулянный.

– Ну а сама когда собираешься? Не старая же, – Клавка все не унималась. Говорливая она, и прежде-то не смолкала, а теперь и вовсе разошлась. – Или твой не хочет? Оно понятно, конечно, своих-то трое, куда четвертого, хотя, конечно, мог бы, чай копейки не считает...

Не считает, это верно. До чего-чего, а до денег Вацлав был нежадный, только вот радости от тех денег ровным счетом никакой.

Снова хотелось иного.

Не равнодушия. Не вежливости и уважения – любви. И снова почти до слез в подушку, до закушенной губы, до разбитой в порыве гнева чашки, до сдерживаемого из последних сил крика, до ненависти к той, которая эту любовь украла.

Почему она, даже мертвая, получала то, что должна была отдать живым?

– А Манька-то говорит, что ты хорошо устроилась, ну а я так не завидую, – Клавка достала из сумки бутерброд с сыром, завернутый в газету. Бумага пестрела жирными пятнами, а с одной стороны к ней прилип комочек белых ниток и длинный темный волос. Фебина поморщилась, Клавка же на подобные мелочи не обратила внимания – развернув газетку на коленях, разодрала слипшиеся куски батона, пальцами поприжала сыр и, протянув половину, спросила: – Хочешь?

– Спасибо, нет.

– Ну сама смотри. А я так тебе не завидую. Ну ни на вот столечко даже, – отщипнув крошку, она кинула ее в рот. – Я и Маньке говорю – чему там завидовать? Это ж какая жизнь-то, муж не любит, дети чужие...

Младенчик захныкал, и Клавка, позабыв про бутерброд, торопливо затрясла коляску, вот только молчать – не замолчала.

– А я так тебе скажу, – она повысила голос, перекрикивая плач. – Не в свой дом полезла, не своею жизнью живешь, не своею и доживать будешь.

Этой ночью Федина впервые за долгое время не могла уснуть, а уснув, плакала в подушку, но муж не слышал – с самого начала по молчаливой договоренности супруги ночевали раздельно. Ее робкие попытки изменить ситуацию закончились мучительным объяснением Вацлава, раз и навсегда убившим надежду на что-то иное.

Но любовь в ее жизни все же была – Милочка, ее родной, ее дорогой, ее самый лучший ребенок, чистый, светлый, неиспорченный знанием той, другой, которая была до Федины.

Ради Милочки она готова была убить, украсть, умереть, но пока требовалось лишь находиться рядом, и она находилась, радуясь каждой проведенной минуте, считая дни и бережно сохраняя в памяти самые светлые моменты.

Милочка и акварельные краски, яркие пятна, которые и не пятна вовсе, а солнце, небо и она, Желочка – Анжела он не выговаривал, а слово «мама» боялась сама Федина.

Милочка и рисунки манной кашей по столу и одежде. Довольная улыбка и счастливое курлыканье. Липкие от варенья ладошки, оставляющие отпечатки на стенах.

Милочка и книги – он любопытен, он хочет смотреть, трогать, пробовать на вкус и прочность. Все дети такие, но Милочка – особенный.

Она знала это с самой первой встречи, с самого первого взгляда, и знание помогало противостоять требованиям Вацлава, который с чего-то решил, что она балует ребенка.

– Хватит потакать всем его капризам, – требовал муж, в кои-то веки повысив голос. – Сегодня он залез к Сергею в портфель, а завтра в кошелек ко мне заберется!

Глупость какая, при чем здесь кошелек? И вообще нельзя так с ребенком, он же не нарочно, он любопытный просто, а Сергей мог бы и повыше портфель свой поставить, он-то старшее, он-то понимает.

Или он нарочно? Ну конечно, Сергей Милочке завидует, как старшие завидуют младшеньким и любимым, потому и подстраивает эти неслучайные случайности. И если уж на то пошло, то никакой беды в попорченной тетради нет – перепишет.

А Милочка плачет, Милочка не привык, чтобы на него кричали. И эти слезы ножом по сердцу.

– Прости меня, – Анжела гасит ярость. – Это я виновата, не досмотрела, а он же... он же ребенок еще. Я понимаю, я не мать, не смогла, не...

Вацлав бледнеет и замолкает. И молчание, привычное в этом доме, становится вдруг невыносимым. Или это потому, что из-за прикрытой двери доносятся приглушенные всхлипы наказанного Милочки?

– Это ты меня прости, пожалуйста, – Вацлав берет за руку, переворачивает, проводит пальцем по ладони и в прикосновении нет ничего случайного. Более того, оно пугает явной намеренностью. – Я тебе всю жизнь поломал... использовал твое одиночество. Я виноват. Я сам надеялся, что будет иначе.

И Федина надеялась. Но теперь, привыкнув к тому, что есть, она не желала перемен. Зачем, ведь и так все хорошо?

И даже замечательно.

– Вот, возьми, – Вацлав принес черную икатулку. – Пусть у тебя будет... тебе будет. Желла открыла, заглянула и закрыла. То, что лежало внутри, ей было не интересно.

– Прости Милочку, – шепнула она. – Он же еще маленький... ему только пять еще.

Шесть.

Семь.

Девять.

Одиннадцать.

Беспомянутое время, бесполезные годы, песочные часы, замершие навечно в точке равновесия, когда пройденное равно оставшемуся. Часы виделись во сне, сначала редко, смутной, вызывающей недоумение фигурой. Потом стали приходить чаще, удивление сменилось скукой, потому что и сны становились предсказуемы.

– Тетя Желла! – визжала Дарья. – Тетя Желла, скажите ему, чтобы не трогал! Отдай! Немедленно отдай, паразит!

– Анжела, – тихо просил Сергей, глядя поверх очков. – Пожалуйста, скажите Мило-славу, чтобы перестал брать мои книги. Или хотя бы руки мыл.

– Анжела, ты должна понять, – день за днем повторял Вацлав. – Что чем больше ты ему потакаешь, тем больше он наглеет.

Они все ненавидели Милочку и даже не пытались скрыть этой ненависти, которую тот переживал остро, болезненно, до слез и истерик. Слезы вызывали брезгливость, истерики – недоумение, и Милочка оставался чужим. И с каждым днем, с каждым движением стрелки все более чужим.

Правильно, потому что и она, Анжела Федина в этой семье лишняя, подобраны из жалости, поманили мечтой, а на деле оказалось, что ничем эта жизнь, в нарядной пятой квартире, не отличается от прошлой. Тот же круговорот обязанностей, те же дни, и вот уже она не человек, а песчинка, застывшая в падении, обреченная навеки быть между... хотя подобные мысли она отбрасывала сразу, укоряя себя за излишнюю мнительность. У Фединой имелось то, что придавало смысл существованию.

Анжела любила Милочку. Анжела оберегала Милочку. Анжела не представляла да и не желала себе иной жизни, потому как невозможна она без солнышка, без зайчонка, без маленького проказника и светлого человечка.

Никем, кроме нее, не понятого человечка.

Милочка часто болел, а говорили – притворяется. Милочка фантазировал – обвиняли во лжи. Милочка пытался обратить на себя внимание шалостями – наказывали.

– Гляди, наплачешься еще с ним, – предупреждала Клавка, у которой Федина пыталась получить совет. А вместо этого получила глубокомысленное замечание, что пороть надо и почаще, тогда все будет в порядке.

Глупости, дети и насилие – несовместимые вещи. Пусть Клавка своего и порет, если ей так охота, а у Милочки слишком утонченная натура, на него нельзя давить.

– Теть Желла, – как-то невзначай поинтересовалась Дашка, собирая вывернутые из шкафа вещи, – Милочка что-то искал, ну спешил, ну с кем не бывает. И не надо делать такое лицо, она все уберет, ей несложно, все равно ведь целый день дома.

– Теть Желла, ты хоть понимаешь, что он монстром становится? Да его в классе терпеть не могут, слизняк и притворщик, и ябеда к тому же...

Федина хотела ответить, не словами – пощечиной, чтоб не смела на брата наговаривать, это ее вина, что у Милочки со сверстниками не ладится, если бы она с ним в детстве играла, если бы...

– Теть Желла, – Дашка подняла мятую рубашку, испачканную чем-то бурным. – Он же вас презирает. Вы его любите, а он – презирает. За мягкость. Почему так?

Леночка

Из зеркала на стене глядела испуганная девица с растрепанными волосами и красными щеками. Губы тоже красные и помада размазалась, и тушь немного... и стыдно-то как! Этот тип, рядом с которым ее посадили, он, конечно, и веселый, и забавный, но вот неприятный просто ужас.

И сам ужин... она пришла вовремя. И торт купила, красивый, с розочками из белого и черного шоколада, и вина бутылку, а вышло неловко – никто больше ни вина, ни торта, ни конфет не принес. Да с самого начала было понятно, что Леночке в этой компании делать нечего. Дверь открыла строгая дама – узкое платье в пол, капельки-жемчужины в ушах, широкие браслеты на запястьях, минимум косметики на лице и очень жесткий взгляд.

– Добрый вечер, – холодно произнесла она, разглядывая Леночку с таким выражением лица, что сразу стало ясно – Леночка что-то сделала не так. – Я – Леля.

– Л-леночка.

– Очень приятно. Прошу.

Как она двигалась! У Леночки в жизни не получится так, чтобы шаг как по подиуму... или не по подиуму даже – по небу, попирая и звезды, и планеты, не говоря уже о земле. Острые каблуки почти беззвучно касались паркета, а синяя ткань платья обрисовывала каждую линию совершенного тела.

– П-простите, – Леночка не сразу решилась окликнуть даму. – А... а тапочки можно?

– А вам туфли жмут? Если так, то вы вполне успеете переобуться.

Туфли не жали. Туфли были очень красивыми, удобными и дорогими, купленными мамой на день рождения, но как бы не от мамы, а от ее мужа. Просто... просто не привыкла она в туфлях и по квартире.

Тем более такой квартире – за просторным коридором начиналась еще более просторная гостиная в бежево-кофейно-золотых тонах, выдержанная, элегантная, как нельзя лучше подчеркивающая характер хозяйки дома. Огромное окно, жесткие складки штор и легчайшая дымка тюля, муаровая обивка низких кресел и софы, сложных форм полка и фарфоровые куколки в старинных нарядах. Еще был длинный стол под белой, до пола скатертью, во главе которого сидела старуха в инвалидном кресле, а рядом с ней – хмурый мужчина.

– Здесь... так необычно! – Леночке очень хотелось сказать что-нибудь приятное, а Леля в ответ лишь вежливо кивнула. Мужчина как-то противно ухмыльнулся, и Леночка еще больше смутилась, а потому ляпнула первое, что взбрело в голову:

– А торт куда? На стол, да?

– Шурик! Шурик, иди сюда, прими у Леночки торт. Она такая милая... садись, да, вон туда, на софу. Прошу простить, но с карточками я решила не возиться, все свои, так что попростому. Увы, к сожалению, не все так пунктуальны, но не волнуйся, скоро придут. А пока познакомься, это – Дарья Вацлавовна. Герман. Ну а с Шуриком ты уже знакома.

Леля опустила в кресло и прикрыла глаза, видимо, полагая, долг хозяйки исполненным.

– А тебя как зовут, милая? – ласково поинтересовалась старушка.

– Леночка, – ответила Леночка. Ей очень хотелось понравиться Дарье Вацлавовне и ее внуку. Леночка сразу решила, что Герман – внук, а еще – что очень заботливый, с инвалидным креслом возится, настраивает, чтобы бабушке и сидеть удобно было, и к столу близко. А Дарья Вацлавовна, хоть и совсем старенькая, вон какое личико сморщенное, на голове – пушок волос, ручки на лапки птичьи похожи – но держится прямо. И одета как на выход: черное бархатное платье, цепочка с кулоном, серьги. Даже шаль, наброшенная на плечи, кажется уместной.

– Геночка, мальчик мой, посмотри, какая замечательная у нас соседка!

Герман буркнул что-то, а в Леночкину сторону и не повернулся даже. Стесняется, наверное. Он – некрасивый, брутальный типаж, как сказала бы Нонна Леонардовна, и непременно бы растаяла, потому как любила таких вот, чтоб голова бритая, со складочками кожи на короткой шее, с кривым носом и шрамом, губу перечеркнувшим, и взглядом исподлобья, будто обвиняющим.

– Вы извините, он у меня дикий совсем, – Дарья Вацлавовна погладила внука по руке. – Но без него, видите, ни шагу сделать не в состоянии. Увы, старость беспомощна, а еще имеет обыкновение уродовать молодость.

– Ой, да какая вы старушка! Вы замечательно выглядите!

Леля фыркнула, и Леночка поняла – сморозила очередную глупость. Впрочем, устыдиться и покраснеть не успела – в дверь позвонили.

– Вельская Евгения, – представилась бледная брюнетка с узким хищным лицом. – А это мой супруг, Кеша.

Леночка еле сдержалась, чтобы не ойкнуть: супругом Женечки был тот самый тип, с которым она в пятницу столкнулась. Тип гнусно ослабился и, не сказав ни слова, плюхнулся на диван. Третьим в зал вошел благообразного вида джентльмен. Седые волосы на пробор, аккуратная борода, старомодные круглые очки в тонкой оправе, коричневый пиджак из мягкого вельвета и розовый бант на шее.

– Милослав, – сказал он и руку поцеловал. А Леночка снова смутилась, потому что до этого дня ей рук не целовали.

– Очень приятно, – пискнула она, а руку, когда все сели, тайком вытерла о штаны, уж больно неприятным показалось прикосновение чужих губ.

Дальше было скучно.

И в туалет хотелось, с каждой минутой все сильнее и сильнее. А Милослав все щебетал, прижимаясь бедром к Леночкиной ноге, то и дело, отпуская двусмысленные шуточки, пытаясь приложиться к руке, полируя взглядом Женечкин бюст и оголенные плечи Лели. Дарья Вацлавовна улыбалась, внук ее был мрачен и с каждой минутой мрачнел все больше, а Леночка чувствовала себя все неудобнее.

Поэтому, когда Вельский поднялся, Леночка тоже воспользовалась моментом и теперь стояла, разглядывая собственное отражение в огромном зеркале, гадая, прилично ли будет сейчас уйти домой. Наверное, нет, потому что Шурик обещал какую-то особенную говядину, а потом еще кофе и пирожные...

Леночка, вздохнув, сунула руки под струю холодной воды и похлопала себя по щекам. Господи, надо же было так опозориться... тортик, вино... тапочки... и Милослав этот... и Вельский... нет, не хватало еще и расплакаться. Плакать она не станет!

Из ванной комнаты Леночка вышла с твердой решимостью досидеть до конца ужина во что бы то ни стало. И не расстраиваться, и не плакать, и вообще получать от происходящего удовольствие!

– Именно так, – сказала она вслух, прикрывая дверь.

– Что «так»?

Леночка обернулась, и решительность ее тут же исчезла. За спиной, сунув руки в карманы пиджака, выпятив щетинистый подбородок, возвышался Вельский. И разглядывал ее прямо как тогда, на лестнице. Сердце, ухнувшее было в желудок, торопливо застучало, а в Леночкиных глазах потемнело от злости и выпитого вина: да по какому праву он позволяет себе так с ней обращаться?

– Вы! Вы ведете себя омерзительно! – Леночка прижалась к стене, а Вельский навис над ней. От него несло табаком и водкой, а вид... ужас! Мешки под глазами, красные молнии сосудов в белках, расползшиеся, почти сливающиеся с радужкой зрачки и лоснящиеся жиром губы.

– Вы... вы права не имеете! Я жаловаться буду! Я заявление напишу. В милицию.

Каждое слово было тише и тише, а про милицию Леночка вообще прошептала. Вельский же, вынув руку из кармана, провел по щеке, мокрая от пота ладонь была холодной и гадкой, Леночка зажмурилась.

Закричать надо! Позвать на помощь!

– Я с тобой позже поговорю, – пообещал Вельский.

– Н-не надо... пожалуйста.

– Ты ничего не способна понять. Ты – тупая. Все здесь тупые. Но ты увидишь... – он отстранился и, сунув руку в карман – и чего это он все время ее в кармане держит, – сказал. – Изменить малое, дабы изменить большое...

Леночка ничего не поняла, а спросить не успела – откуда-то в коридоре появился Милослав, моментально ввинтившийся между нею и Вельским, и даже успевший сказать что-то забавное и наверняка, при ближайшем рассмотрении, пошлое. Его рука по-хозяйски легла на плечо, и Леночка мысленно взывала, следом взвыл выглянувший в коридор Шурочка, но уже от возмущения:

– Вы меня убиваете! Вы меня просто убиваете! Я жду! Мясо ждет! А они тут!

– Мы уже идем, – пообещал Милослав, приобнимая Леночку.

Кажется, мысль досидеть до кофепития была не самой удачной.

* * *

Говядина удалась. Крошечные глиняные горшочки, расписанные синей и белой глазурью, тончайшая корочка теста, под которой скрывались кисло-сладкие кусочки мяса в огненно-красном, но совсем не остром соусе. В качестве гарнира к этому великолепию полагалось зеленые стебельки спаржи и сельдерея, брюссельская капуста, цветная фасоль и терпкое вино... Леночка почти примирилась с жизнью, и даже Вельский уже не казался таким уж монстром – специфический тип, конечно, но встречались и похуже.

– Лелечка, милая, твой муж – просто кудесник! – Милослав промокнул салфеткой губы. – Маг и волшебник от кулинарии.

Шурик зарделся и смущенно шмыгнул носом, сам он почти не ел, но пристально следил за остальными.

– Очень вкусно, – похвалила Леночка.

– Да, да... замечательно, наверное, во всяком случае, на вид и запах, – Дарья Вацлавовна к мясу не притронулась. – В такие вот минуты начинаешь сожалеть об ограничениях, которые накладывает возраст... А вам, милая Леля, стыдно должно быть, что не цените: в ваши-то года и унылое рыбное варево.

– Лелечке вчера плохо было, – поспешил пояснить Шура. Заботливый он, вот, специально для Лели приготовил какое-то сложное диетическое блюдо, и совсем даже не унылое – конфетти вареных овощей, листья салата, кубики сыра... Правда, во всем этом великолепии Лялечка ковырялась с видом брезгливым и раздраженным.

– Не вкусно? – Шурочка подвинулся к жене и ласково погладил по ладони. – Ты кушай, кушай... еще ложечку. И еще. Вот так.

Леля открыла рот, чтобы что-то сказать, может, и возмутиться, но вместо этого икнула. Тут же покраснела, потом побледнела и, зажав рот руками, пробормотала:

– И-и-извините. Я сейчас.

– Да, милая, конечно, – Дарья Вацлавовна сочувственно покачала головой. – Ты бы прилегла, как-то бледновато выглядишь...

– Да, Леля, – поддержала Женечка. – Ты себя нормально чувствуешь?

– Пить меньше надо, – буркнул Вельский.

А Леля ничего не ответила, она всхлипнула, прижав ладони к вискам. И вправду бледная, даже серая, и капельки пота на лбу, а из носа потянулись два красных ручейка крови. До двери она тоже не дошла, покачнувшись, задела стол – на пол полетели стаканы, бокалы и вилки. Вскочил, матерясь, Вельский, стряхивая с брюк винные капли. А Леля, скукожившись калачиком, завывала.

– «Скорую» вызовите кто-нибудь, – неожиданно звонкий голос Дарьи Вацлавовны вывел Леночку из ступора, и она уронила вилку, и зачем-то расстроилась, что останется жирное пятно, которое точно ничем не выведешь, а как она перед врачами и в грязной юбке?

Милослав громко сказал:

– И милицию тоже, это убийство...

А Леночка потеряла сознание.

Гений

Нет-нет-нет, все было неправильно, не по задумке и оттого отвратительно. Плагиаторы, уроды, сволочи, твари! Как они посмели... нет, как она посмела! Да, теперь он был уверен – это Женька сделала. Нарочно. Чтобы его позлить и чтобы подставить. Вот хитрая тварь... но кто бы мог подумать?

Надо, надо было предположить. Она нарочно тогда с разговором подгадала, просчитала его реакцию и поторопилась. Теперь что? Теперь при нем найдут таблетки и посадят, а Женька-стерва подаст на развод, квартиру отсудит и станет жить со своим любовником, посмеиваясь над тем, как она ловко...

О боже, и что делать? Никто не поверит... никто не станет слушать... никто не способен понять, что он в жизни не стал бы травить Лелю. Зачем?

– Леля, Лелечка, – скулил Шурик, прижимая вялую руку трупа к груди. – Как же так, Лелечка...

Идиот, можно подумать, она сейчас встанет и ответит.

Но делать-то что? До приезда ментов считанные секунды остались. Он почти реально ощущал прикосновения холода к запястьям, вонь камеры и тупое презрение стада, которое будет осуждать не за убийство, а за бессмысленность сего действия.

С Женькой иначе было бы, с Женькой – ревность и страсть. Изысканность способа, неотвратимость, пламя, пожирающее изнутри, страдания тела в обмен на страдания души... таблетки-таблетки-таблетки. Пластиковая оболочка флакона нагрелась, стала мокрой от пота и насквозь пропиталась запахом его страха. Да, именно так, именно пластик и именно пропитался, пусть и невозможно, но разум твердит свое.

Разум требует избавиться от улики. Сейчас, немедленно, пока в выть Шурика, в столах старухи, вздохах и бормотании Милослава и удивленных, выпученных глазах самочки-соседки догорают последние секунды времени.

Он вытащил флакон, решив бросить его под стол – пусть разбираются, откуда взялся, вспомнив об отпечатках, кое-как вытер о брюки. Пластик по-прежнему был теплым и влажным на ощупь. Нет, не выйдет, отпечатки останутся, надо бы платочком, а лучше и платком, и скатертью, и вообще засунуть в коробку, положить камень и в реку... или в унитаз.

Хорошая мысль, жаль, что запоздала, теперь, если он попробует выйти, это заметят, потребуют объяснений.

А вот следующий вариант поразил его своим изяществом. И обрадовал, – это был выход, достойный его разума, позволяющий просто и элегантно обойти все проблемы разом.

Ну что, стерва, не вышло? Мы еще посмотрим, кто кого переиграет!

Обернувшись к жене, он усмехнулся и подмигнул, та, кажется, не заметила. А вот овечья мордочка соседки удивленно вытянулась. И куда она уставилась? Видит? Поняла?

Проклятье!

Брат

Какой пассаж! Какой поворот, смерть а-ля натюрель, на десерт, вместо безе с грецким орехом, эклеров и французского сыра... Это вам не тирамису, это блюдо для избранных, и лестно, что его тоже включили в круг, позволив наблюдать, изъяснить притворное сочувствие.

Все здесь притворяются, в этом он не сомневался ни на секунду, но тем не менее продолжал всматриваться в лица, отмечая новые и новые детали. Прикушенная до крови губа и красная помада становится еще более яркой, как и румянец на острых скулах Женечки. Грудь в кружевах вздымается, и розовая кожа горит, не то от волнения, не то от незримого прикосновения его взгляда, круглые капельки пота скользят в ложбинку, смывая молочно-булочный запах.

Что может быть сексуальнее смерти?

Желание в нем самом было непередаваемо острым, и Милослав со страхом и стыдом тем не менее наслаждался каждым мгновением.

Острые каблуки и тонкие ремешки на стройных лодыжках Лелиных ног. Край чулочка в разрезе платья, приоткрытые глаза, манящие, кукольные, неживые. Жаль, что нельзя сделать фото.

Или... Нет, не получится.

Звонок в дверь электрическим током прокатился по нервам, и Милослав застонал, на всякий случай прижав руки к груди. Больное сердце – это прилично, это люди поймут, оставят в покое и в скором времени позабудут, позволив наблюдать за происходящим.

Так и вышло. Ему помогли перебраться на диванчик у стены, вежливо попросив не уходить, накапали в стаканчик валерианки и корвалола – Милослав проглотил, не ощутив вкуса, и посадили рядом Леночку. О, это было неожиданно и приятно, оцепеневшая и беспомощная, она привлекала его почти так же, как Леля... она вызывала рождение новых фантазий, и с каждым судорожным вздохом ее, с каждым неловким движением, с каждым взмахом ресниц Милослав все ближе и ближе подходил к пониманию.

Прав был агент Малдер, истина рядом. На диване. Рукой к руке, горячей кожей через ткань.

Он позволил себе увлечься и даже перестал следить за происходящим, тем паче, что Лелю вскоре унесли, а смотреть на бродящих по квартире мужиков было совсем не так интересно, поэтому и первый из заданных ему вопросов он пропустил.

Списали на шок и сердце.

– И-извините, – Милослав решил быть вежливым. И слабым. И страдающим, впрочем, последнее было почти правдой – он страдал от невозможности немедленно удовлетворить свои желания, он почти бредил, он горел страстью, каковой не испытывал уже давно.

Но тем не менее разговор с милиционером – сутулый скучный человечек, все тайные желания которого прописаны в складках морщин, опущенных уголках губ да мешках под глазами – помог придти в норму. Впрочем, отвечать Милослав старался честно, и даже более-менее точно вспомнил, кто и когда выходил из-за стола.

Это было интересно, это было частью представления, а ему хотелось продолжить игру, ощутив на кончике языка терпкое послевкусие смерти.

– Так значит, когда вы вернулись, все остальные уже сидели?

Вот же надоедливый!

– Да, – ответил Милослав и нахмурился. Сидели? Старуха и Герман были, они, кажется, вообще не покидали зала. Женечка тоже сидела, закинув ногу за ногу, и смеялась над какой-то шуткой, громко так, неестественно даже, да и в позе ее, как теперь казалось, явственно

проскальзывала напряженность. Вельский и Леночка... Леночка сразу плюхнулась на место и отодвинулась от него, а Вельский некоторое время стоял в проходе.

Кажется так.

– Спасибо, вы нам очень помогли, – вежливо ответил Сутулый, сутулясь еще больше. Врал он, ничем Милослав не помог, потому что помочь в этой ситуации было невозможно – смерть пришла на цыпочках и следов ее не обнаружить никому.

– Ой, смотрите, что это там? – Вельский, наклонившись, вытащил из-под кресла желтую тубу с плотно притертой крышкой. Сквозь полупрозрачный пластик было видно, как перекачиваются внутри круглые гранулы таблеток. – Я смотрю, а оно там бликует... извините, что так, руками...

Наследник

Мать-мать-мать же твою через колено! Лелька, ну что ж она так? Нет, она как раз не виновата – это Герман понимал, но злился почему-то именно на нее. А потом Вельский вытащил таблетки – может статься, совсем безобидные таблетки, Лелькины же, но-шпу или аспирин там – и Герман разозлился уже на Вельского. Притворялся тот, и бездарно, неужели поверят в «случайную» находку?

– Геночка, – пропела Дарья Вацлавовна, хватаясь за сердце. – Это же мои, пропавшие вчера! Я узнала коробочку.

Молчала бы, карга старая! Узнала она. Конечно, узнает, у нее этим добром половина аптечки забита.

Сейчас он ненавидел старуху сильнее обычного и совсем даже не стыдился этого чувства. Кажущаяся беспомощность Императрицы подстегивала нервы адреналином, затягивала горло петлей ожидания, которое с каждым днем становилось все более и более тягостным.

А она еще и подначивала постоянно, разыгрывала приступы болезни или же – вот как сейчас – откровенно подставляла.

– Это ваше? – следак смотрел не на Дарью Вацлавовну, а на Германа.

– Ну, конечно, наше! То есть мое, – подкинула полешек в огонь старушеницы. – Ой, Кешенька, если бы вы знали, как я вам благодарна. Мне пришлось новую банку открыть, а значит, в запасе совсем ничего не осталось. А вдруг бы с рецептом тянуть начали? С врачами это случается, вечно у них тысяча причин находится, чтобы отказать больному человеку... потом, даже с рецептом, попробуй достань! Заказывать приходится, ждать, нервничать. А мне нервничать нельзя!

Переиграла. Впрочем, кроме Германа этого никто не заметил, Дарью Вацлавовну слушали внимательнейшим образом.

– Одного понять не могу, – Дарья Вацлавовна взглядом следила за тем, как таблетки упаковывают в пластиковый пакет, возмущаться или требовать найденное лекарство, слава богу, не пыталась. – Как они к Лелечке попали?

Вельский нервно дернулся, Милослав пожал плечами, а следак вперился в Германа. Придется отвечать.

– Не знаю. Я из комнаты не выходил.

– Да, да, Геночка от меня ни на шаг. Да и зачем ему Лелю убивать? Ведь убийства без мотива не бывает, правда?

С Дарьей Вацлавовной поспешили согласиться. А Леночка – еще одно наказание на его голову – вдруг громко сказала:

– А он их из кармана вынул, – и ткнула пальцем в Вельского. – Я видела. Он весь вечер что-то в кармане щупал, а когда Л-Леля уп-пала...

Вельский медленно поднялся и шагнул к диванчику, руки его, сжатые в кулаки, поднялись над кучерявой Леночкиной макушкой.

– Эй, гражданин, полегче!

– Ну ты, паскуда, ты на кого пасть раззявила? – от следака Вельский отмахнулся, а тот от удара отлетел и, грохнувшись на стол, взвыл.

– М-мама, – пискнула Леночка, закрыв глаза.

А он чуял же, знал, что будут от нее проблемы... вот, пожалуйста. Впрочем, Вельский – не проблема, раз в ухо и второй – в брюхо, а как согнется – добить третьим, по шее. Подоспевшие менты тут же скрутили слабо рыпающегося соседа. Щелкнули наручники, раздался приглушенный мат и только Женечка, театрально всхлипнув, сообщила:

– А он всегда нервным был... вспыльчивым... он ведь гений.

Последнее, как показалось Герману, произнесено было с явной издевкой.

* * *

Но однажды равновесие часов все же нарушилось, причиной тому стало событие глобальное – смерть Вацлава. Произошла она обыкновенно и даже буднично – во сне, и поначалу вызвала у Фединой чувства смешанные, но с горем ничего общего не имеющие. Первое, о чем подумалось, что теперь некому будет терроризировать Милочку непосильными требованиями, второе – придется возиться с похоронами, ну а третьим стало недоумение по поводу дальнейшей жизни.

Похороны, кладбище, поминки, где не было родни, зато были коллеги – череда лиц, вежливые соболезнования, и ей, и Сержу, и Дарье, ставшей почти точной копией матери. Милочке... Милочка рыдал, Милочка не стеснялся показывать чувства, Милочка выделялся из этой черно-унылой толпы искренностью чувств, а на него смотрели с удивлением.

С презрением?

Он же маленький еще, в шестнадцать лет и потерять отца...

Беспомощный.

Пьяный.

Кто и когда поднес Милочке водки, Анжела не заметила. Возможно, он сам, подражая взрослым, в тщетной надежде залить горе спиртным, опрокинул стопку. Возможно, не одну. И даже не две. Милочка стоял, опираясь обеими руками на стол, широко расставив ноги, нагнувшись так, что вывалившийся галстук почти доставал до ботинок. Ужасающая картина эта привлекла внимание всех, люди стояли, не пытаясь помочь мальчику, только переглядывались, перешептывались, улыбались... что может быть неуместнее улыбок на поминках?

А Милочку вырвало. Прямо на скатерть, на накрахмаленную скатерть-салфетки-тарелки-вилки-ложки-соусницы-цветы...

Это было ужасно. Анжела закрыла глаза, она бы и уши заткнула, чтобы не слышать ни характерных звуков, издаваемых Милочкой, ни звона бьющейся посуды, ни глухого звука падения, ни сочувственного голоса рядом:

– Тяжелый ребенок. Не переживайте, случается.

Тем же вечером состоялся разговор, положивший начало переменам. Затеял его Сергей. Он был бледен, хмур и с трудом сдерживал ярость, которая, впрочем, проглядывала в резких движениях, во взгляде, в ледяном тоне.

– Случившееся сегодня – закономерно.

Руки скрещены на груди, круглые очки съехали на кончик носа, губы брезгливо поджаты – до чего он похож на Вацлава.

– Вы извините меня, пожалуйста, за то, что я собираюсь сказать. Вероятно, вы сочтете это проявлением неблагодарности, хотя видит бог, я куда более благодарен вам за все, чем эта мелкая сволочь.

Про кого это он? Про Милочку?

– Любовь слепа, вы не видите, во что он превратился, – Серж сел. Кресло с высокой спинкой, массивный стол, на черной лакированной поверхности которого отражаются огоньки люстры. Серебряный подсвечник. Серебряная чернильница. Серебряное перо, запаянное в кусок хрусталя. Вещей мало, но каждая из них прочно связана с Вацлавом.

Или уже с Сергеем.

И так же, как отец, Сергей оказался неоправданно жесток. Он говорил, что делает все ради блага, ее и Милочки, во избежание каких-то ужасных последствий бездействия, а

Федина из последних сил сдерживала слезы, она понимала – Сергей просто желает отослать ее прочь, во вторую квартиру, запретить видаться с Милочкой...

Но как она будет жить? Как?

** * **

Скучно.

За окном снова дождь, и рама протекает. На широком, свежесвыкрашенном подоконнике лужа, столько лет прошло, а кажется – та же, прежняя, позабытая в день Ванькиной смерти. И Федина смотрит на лужу, слушает, как с шелестом, с хлопанием, будто бы со вздохом даже, разбиваются о пол капли. Вытереть? Полотенце ведь рядышком, скручено махровым жгутом, но сухое – она так и не решилась нарушить водяную гладь.

Федина думала о жизни. И чудилось – мысли те же самые, прежние, оставленные в кладовой квартиры, поросшие пылью, но меж тем целехонькие. Про жизнь, которая по кругу, про то, что прожито, достигнуто, потеряно...

Звонок в дверь. Подниматься надо, идти, открывать. Кто на этот раз? Дашка или Серж? Милочка-то не заходит, не пускают его, сволочи, заперли, «оградили от влияния».

– Теть Желла, ну что вы в темноте сидите? Опять горюете? А я билеты в оперу взяла, пойдете со мной?

Шумная Дашка, нарядная Дашка, а иногда, особенно, когда боком повернется, то и не Дашка – Элька. То же узкое лицо с тонким длинноватым носом, те же губы сердечком, та же длинная шея на опущенных вниз плечиках, и шарфик тот же... нет, не тот, но похож – белый шелк небрежным узлом.

– Ой, ну как вы все запустили! Я тете Клавке скажу, чтоб зашла, убралась. Желла, ну нельзя же так с собой! Ну что вы, право слово, как затворница!

Рокочущий голосок, не по-женски басовитый, вода по камушкам... вода на подоконнике... трудно мысли удержать. Что нужно этой девчонке? Дрянная, она Милочку не любит, ни капельки, никогда не любила, завистливая дрянь.

И платье, где она взяла это желтое платье с красными пуговицами и воротничком-аппаш? Назло с антресолей вытащила, чтоб про Эльку напомнить. У Эльки было все, а у Фединой ничего. Но Федина умнее, Федина живучее, она сумела, она украла у Эльки и квартиру, и Милочку, но вот теперь – жизнь-то по кругу, как стрелочки по циферблату, – украли и у Фединой.

– Он учится, – тихо сказала Дашка, отводя взгляд. – В Москве. Сережка устроил. Хороший университет, ему там очень нравится. Друзья появились. Вот.

Врет все! Откуда университет, Милочка ведь маленький, Милочка еще школу не окончила...

– Вот сессию сдаст и приедет. Тетя Желлочка, а пойдете к нам? На чай?

– Вон! – Федина швырнула в наглую девчонку тряпкой. Давно надо было проучить, чтобы не врала, чтобы не оговаривала Милочку. Завистница! – Убирайся! Ненавижу!

В последнем она была искренна.

Леночка

Следующие два дня были для Леночки крайне неприятными: вся эта история с отравлением, которое на проверку вышло именно отравлением, то есть убийством Лели, привела, во-первых, к появлению ночных кошмаров, в которых Леночка то сама умирала, то убивала, а то и пыталась доказать кому-то, что убийца – не она. Ну а во-вторых, доказывать приходилось и наяву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.